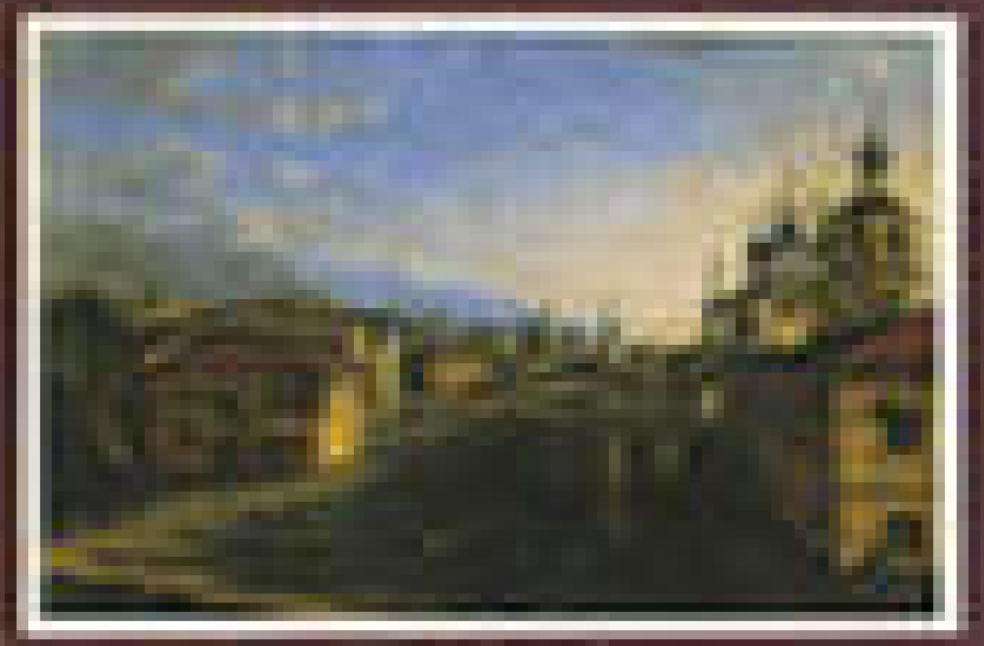


В. Муравьев

ОЧЕРКИ МОСКВЫ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Очерки Москвы» А. С. Ушакова (именно этот знаток купеческого быта и плодовитый литератор скрывался за псевдонимом «Н, Скавронский») вышли тремя выпусками в 60-х гг. прошлого века. В них смешались различные жанры и путеводитель по Москве — по Городской и Рогожской частям, Замоскворечью Лефортову, и рассказ о гуляниях в Петровском парке и Сокольниках- читатель найдет здесь размышления о нравах и быте москвичей и описание курьезных истории, случавшихся в то время; наконец, представлена и беллетристика.

В настоящем издании:

выпуск 1-й воспроизводится полностью-

из выпуска 2-го взяты «Введение», «Московская городская дума в новом составе»

и «Где можно покойно спать, сыто и недорого есть в Москве»-

из выпуска 3-го — «Сокольницкая идиллия» и «Купеческая дочка и матушкин сынок».

Как говорится — спасибо и за это!

Предназначена широкому кругу читателей.

- ОБ АВТОРЕ ЭТОЙ КНИГИ
- ОЧЕРКИ МОСКВЫ. ВЫПУСКЪ ПЕРВЫЙ
  - ОБЩИЙ ВИД
  - ГОРОДСКАЯ ЧАСТЬ
  - РОГОЖСКАЯ ЧАСТЬ
  - ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
  - ЛЕФОРТОВСКАЯ ЧАСТЬ
  - ПАРК И СОКОЛЬНИКИ
- ОЧЕРКИ МОСКВЫ. ВЫПУСК ВТОРОЙ
  - ВВЕДЕНИЕ
  - МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩАЯ ДУМА В НОВОМ СОСТАВЕ
  - ГДЕ МОЖНО ПОКОЙНО СПАТЬ, СЫТО И НЕДОРОГО ЕСТЬ В МОСКВЕ
- ОЧЕРКИ МОСКВЫ. ВЫПУСКЪ ТРЕТИЙ. НРАВЫ.
  - СОКОЛЬНИЦКАЯ ИДИЛЛИЯ
  - КУПЕЧЕСКАЯ ДОЧКА И МАТУШКИН СЫНОК
- КОММЕНТАРИИ ВЫПУСК ПЕРВЫЙ
- КОММЕНТАРИИ ВЫПУСК ВТОРОЙ
- КОММЕНТАРИИ. ВЫПУСК ТРЕТИЙ И ПОСЛЕДНИЙ

ОБ АВТОРЕ ЭТОЙ КНИГИ

Александр Сергеевич Ушаков (одним из псевдонимов которого был «Н. Скавронский») родился в Москве в 1836 году, в небогатой купеческой семье. Его судьбу определило влияние двух близких родственников: дяди по отцу А. Ф. Ушакова — автора романа «Чужой птенец», пользовавшегося в свое время немалой известностью, и дяди со стороны матери, известного книгопродавца В. В. Логинова.

Если пример первого заставил его попробовать силы на литературном поприще, то второй дал стимул заняться книжным делом.

В. В. Логинов жил по-барски. Отведя делам время до завтрака, до часу дня, он уже больше к ним не возвращался. К завтраку обычно сходились его друзья — Н. А. Полевой, П. С. Мочалов, В. И. Живокини… Будучи театралом, дядюшка надолго, если не на всю жизнь, заразил этой страстью и племянника. Благодаря ему юный Саша Ушаков имел счастливую возможность лицезреть пламенную игру Мочалова.

Жизнь Александра складывалась нелегко. Окончив Московское коммерческое училище, он должен был поступить на службу в немецкий торговый дом. Все же обстоятельства позволили Ушакову отправиться в Европу. Около года он прожил в Лондоне и Париже, что дало ему потом основание в «Очерках Москвы» провести параллель между жизнью в первопрестольной и в европейских столицах.

В начале 60-х годов мы видим его в скромной должности приказчика в магазине прогрессивного московского книгопродавца А. Ф. Черенина. В 1863 году Ушаков уже заведует отделением черенинского магазина на Средней Кисловке. В 1864 году Черенин покупает библиотеку А. М. Дмитриева на Волхонке.

К этому времени Ушаков уже настолько увлечен книжным делом, что, невзирая на отсутствие сколько-нибудь солидных средств, решает открыть собственную фирму. Черенин уступает ему аренду помещения и оборудование в доме Михалковой (сейчас Волхонка, 6), и с 1865 года библиотека существует уже как принадлежность фирмы Ушаковых. И в ней, и в открывшемся вскоре магазине Ушакову помогает жена Фелицата Ивановна, взятая им из старообрядческой семьи.

Книжная торговля в те годы редко кому помогала нажить капитал, и Ушаков вынужден был служить. Сначала он занимал должность помощника городского секретаря в Московской думе (что дало ему материал для написания второй части «Очерков

Москвы»), позже он был присяжным стряпчим, но невысокого разбора: постоянно нуждаясь в деньгах, брался за любые дела.

Библиотека и магазин в основном держались стараниями Фелицаты Ивановны, женщины, по всей вероятности, далеко не заурядной. Вспомним: в те времена лишь считанные представительницы прекрасного пола рисковали встать за прилавок.

Открывая свои книготорговые предприятия, Ушаковы преследовали прежде всего просветительские цели. Абонементы их библиотеки, как и библиотеки А. Ф. Черенина, были недороги и дифференцированы по цене в зависимости от разряда, так что пользоваться ею могли все желающие (артисты императорских театров и чиновники Городской думы даже освобождались от залога). Однако и этого Ушакову показалось мало. При своей библиотеке он открывает первую в Москве бесплатную читальню. Для поддержания читальни и в других благотворительных целях при библиотеке устраивались литературные вечера.

Такой же энтузиаст, как и Ушаков (добавим: такой же прожектер, автор разнообразных, но, увы, не приносящих дохода учебников и брошюр), приказчик И. К. Разумов писал 19 февраля 1865 года известному библиографу П. А. Ефремову: «У нас устроились чтения, во-первых, для народной читальни, а во-вторых, для снабжения учебниками беднейших воспитанников. Также предполагаются чтения для возобновления в Симбирске Карамзинской библиотеки».

Напомним, что Карамзинская библиотека была создана в Симбирске в 1848 году стараниями многих выдающихся людей России: братьев Языковых, родственников Н. М. Карамзина, литераторов И. А. Гончарова, С. Т. и К. С. Аксаковых, И. И. Дмитриева, Д. Д. Минаева… Страшный пожар, случившийся в Симбирске, не пощадил и библиотеки. Для ее восстановления собирались средства по всей стране. Впоследствии в этой библиотеке занимался В. И. Ленин.

И. К. Разумов писал ученому Николаю Саввичу Тихонравову: «…в субботу на Святой, 10 числа, будет вечером у Ушакова чтение в пользу Симбирской библиотеки. Сделайте одолжение, не возьмете ли вы на себя труд прочесть что-нибудь на память Ломоносову…» 2 Однако памяти М. В. Ломоносова был посвящен другой вечер, последний в сезоне, который состоялся 2 мая и сбор от которого пошел в пользу русских народных школ Западного края.

Литературные чтения предназначались для мелких чиновников, торговцев, ремесленников и т. д. Ушаков прилагал все усилия, чтобы привлечь к участию в них знакомых

литераторов, деятелей культуры. Так, на них неоднократно выступал великий русский актер П. М. Садовский. 6 марта 1866 года на вечере в пользу бесплатной читальни известный литератор С. А. Юрьев (будущий издатель журналов «Беседа» и «Русская мысль», с 1878 года — председатель Общества любителей российской словесности) читал свой перевод одной из драм Кальдерона. Участвовал в вечерах и Ф. М. Достоевский; А. Н. Плещеев читал на них произведения А. С. Пушкина…

Литературные вечера у Ушаковых привлекли внимание членов московского революционного объединения ишутинцев. Один из них, Осип Мотков, посещал чтения неоднократно. В следственном деле (а Мотков, как и другие члены Ишутинского кружка, был привлечен по делу Д. В. Каракозова) сохранились его показания от 24 апреля 1866 года:

«Г. Ушаков владеет в Москве библиотекою, в прошлом году он устроил несколько вечеров… На одном таком литературном вечере я после чтения провел некоторое время не в читальном зале, а в самой библиотеке г. Ушакова, где отдыхали и ужинали читавшие литераторы. Тут были: Чаев, Горбунов, Островский, Писемский, Ф. Берг, сам Ушаков, его жена, Белопольский и Геннади или Греков…»

Вечера продолжались и в 1867 году. Однако, надо сказать, бесплатная читальня не принесла желаемых результатов. Для простого народа такое времяпрепровождение, как чтение, даже бесплатное, было все еще непривычным.

Книжный магазин был открыт при библиотеке Ушакова осенью 1865 года, и тот же Разумов в письме Ефремову полагал, что этот «дешевый и полный разноязычный магазин» — «благо для сонливой Москвы».

Ушаков занимался и издательской деятельностью. Возможно, наиболее интересным его начинанием могло бы стать издание сочинений Т. Н. Грановского (портрет Грановского был уже заказан фирме Брокгауза), но издание было прекращено административным порядком. Цензурный комитет не допускал печатания и книги Дж. Ст. Милля «О свободе».

Надо признать, что как издатель А. С. Ушаков в целом не снискал себе лавров. Культура его изданий была невысока. У него не было четкой программы, он разбрасывался, издавал пользовавшуюся тогда повышенным спросом естественнонаучную литературу, но в основном свои собственные произведения. Некоторые книги были изданы им совместно с типографом А. И. Мамонтовым (братом С. И. Мамонтова), но пути их разошлись, когда Ушаков, желая себя обезопасить, выпустил брошюру о Комиссарове, спасшем Александра II во время покушения

Каракозова.

Одним из завсегдатаев книжного магазина Ушаковых был замечательный деятель русской культуры, писатель, музыковед князь Владимир Федорович Одоевский.

В 60-е годы В. Ф. Одоевский, поселившись в Москве, на Смоленском бульваре (сейчас дом 17, строение во дворе), служил в VII департаменте Сената. Путь его на службу лежал мимо библиотеки Ушаковых.

«…Князь в самом магазине постоянно заставал меня за литературной работой, которой и интересовался, приобретая все, что в то время издавал наш магазин: «Жизнь животных» Перти, «Лечение душевных болезней» Эрленмейера и проч., — вспоминал Ушаков. — Князь довольно продолжительное время почти каждый раз оставался в магазине и в библиотеке, заходил в наш обширный читательный зал, в даровую народную читальню, бывшую в то время по большей части книги библиотеки — его обычный, привычный мир, без которого он не мог существовать. И что за кроткое, всегда осмысленное, рассудочное выражение принимало его лицо в то время, когда он даже не читал, а только просматривал то или другое сочинение. Даже тогдашняя разнообразная, по большей части шумливая публика нашей библиотеки становилась как бы более сдержанной при нем, узнавши его вследствие частых посещений; становилась как бы более сдержанной и почтительной» 5.

15 февраля 1867 года А. С. Ушаков пишет литератору и предпринимателю Ф. В. Чижову: «Нужда гонит меня за границу в роли сопровождающего моего больного дядю» 6. Из письма следующего года: «Дело в том, глубокоуважаемый Федор Васильевич, что книжное дело наше при наших маленьких средствах идет далеко не в прибыль и кроме того в постоянный, день ото дня ослабляющий ущерб для здоровья жены моей; наш общий знакомый и с давнего времени истинный'друг наш Н. К. Беркут высказал прямо, что, если она будет продолжать трудиться таким образом, он не ручается ни за что. Приходится выбирать между делом и жизнею человека… Я уже имею переговоры о передаче дела…» 7

Письмо от 26 апреля 1870 года: «Положение нашего дела и вместе с тем наше с женой — истинно трагическое: доходы с библиотеки так плохи, что не только не дают каких-либо средств для жизни, но все чтение и ведение читальни не окупают даже и расходов. Не находя покупателя, мы решаемся поручить это дело нашей доброй знакомой, бывшей даже несколько лет в нашем деле, а самим искать средства к жизни и к поддержке этого дела личным трудом: жена решилась поступить на провинциальную

сцену, а мне необходимо искать места. По поводу этого я и имею честь обратиться к Вам, глубокоуважаемый Федор Васильевич.

Несчастия охладили мои увлечения, хотя остатком жизни я бы желал исправить свои ошибки, поскорее дать возможность жене отдохнуть от ее многотрудной жизни и войти в роль разве только наблюдающей над делом. Здоровье ее таково, что ей нечего и думать о сценической карьере, но в настоящем положении, скрепя сердце, приходится отпустить…»

В 1870 году библиотека была переведена в дом Скворцова на углу Воздвиженки и Моховой (ныне дом 4/22; здание перестроено). В 1879 году она была продана М. Вивьен.

В 1888 году Фелицата Ивановна Ушакова скончалась, получив незадолго до смерти значительное наследство. Согласно ее завещанию, Ушаков передал 85 тысяч рублей на строительство библиотеки Московского университета. В фундаменте здания замурована бронзовая доска, на которой наряду с именами других жертвователей — М. И. Муравьева-Апостола и М. П. Павловой — начертано имя Ф. И. Ушаковой.

Впоследствии А. С. Ушаков женился во второй раз, однако о его второй супруге нам ничего не известно.

Литература и театр были двумя главными увлечениями в семье Ушаковых.

Уже на склоне лет, в 1891 году, А. С. Ушаков писал Н. С. Тихонравову, в то время председателю Московского отделения Литературно-театрального комитета: «Я уже не новичок в литературе — давно состою членом Общества драматических писателей, работал несколько лет с И. К. Бабстом и Ф. В. Чижовым в «Вестнике промышленности», был постоянным сотрудником И. С. Аксакова в его периодических изданиях, и литературный труд мой несколько десятков лет был даже моим средством к жизни» 9.

В 1893 году, обращаясь к издателю А. С. Суворину, А. С. Ушаков предлагал последнему выпустить его избранные сочинения, «исключительно иˆ купеческого быта», напечатанные под разными псевдонимами в «Современнике» (пьеса под псевдонимом Тарыкин), «Библиотеке для чтения» (пьеса под псевдонимом Вер-зилин), «Литературной библиотеке» (комедия «Страшен сон, да милостив Бог»), литературных прибавлениях к «Новому времени» (драма «Старообрядцы»), «Светоче» (роман «Коммерческая аристократия» и ряд очерков), «Дне» («Сцена из народного быта») и других журналах 10.

Исследователь 60-х годов В. Е. Чешихин-Ветринс-кий считал Ушакова «прекрасным знатоком купеческого быта» ". «Беллетрист и экономист» — так характеризовал он А. С. Ушакова. Сам же

Ушаков главным в своем творчестве считал драматургию.

В 1867 году он переделал для сцены «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского с согласия автора. Сохранились четыре письма Ушакова Достоевскому по этому поводу 12. Достоевский по крайней мере дважды отвечал Ушакову. Одно из этих писем находилось у Ушакова еще 7 февраля 1881 года. Однако до нас они не дошли.

(Любопытно, что фамилия сотрудника Ушакова, которого тот посылал в Петербург, и в частности к Достоевскому, была Рогожин.)

В течение 1867–1882 годов цензура не разрешала постановку этой инсценировки. Были у Ушакова затруднения и с постановками других пьес — например, драмы «Старообрядка».

«Мне бы хотелось что-либо посильное сделать для родного драматического искусства, — обращался он в октябре 1892 года к Н. С. Тихонравову. — Продолжая все это время хворать и изменяя мое духовное завещание, я бы желал вручить Московскому университету известный капитал на утверждение ежегодной премии за лучшее драматическое сочинение…»

Ушаковы были активнейшими участниками Общества любителей драматического искусства, основанного в 1861 году в Москве (сценический псевдоним Ф. И. Ушаковой — Зорянская). В этом кружке принимали участие будущий знаменитый актер М. И. Писарев, писатели А. И. Кроненберг и В. И. Клюшников (автор «антинигилистического» романа «Марево», впоследствии редактор «Нивы»). Режиссировал Н. Л. Шаповалов. (У Шаповалова хранилось 15 рукописей А. Н. Островского. После смерти Шаповалова его брат отдал их в Румянцевский музей.) На репетициях бывали А. Н. Островский и А. Н. Плещеев. Некоторые спектакли кружка давались в Секретаревском театре, например, «Страшен сон, да милостив Бог», некоторые — в доме Шепелева на Швивой горке (сейчас больница имени Медсантруда).

Многочисленные связи с писателями, актерами, деятелями искусства дали А. С. Ушакову богатый материал для написания в 1894 году «Литературных и театральных воспоминаний».

В них упоминаются актеры императорских театров: С. П. Акимова (жившая, как пишет Ушаков, на Арбате, в приходе Троицы, в доме купца Патрикеева), С- В. Шумский, Л. П. Косицкая-Никулина, В. И.

Живокини, П. М. Садовский, Н. Н. Никифоров, К. Н. Полтавцев, Н. А. Вильде, Е. Н. Васильева, Г. Н. Федотова, Н. А. Никулина, А. И. Колосова, Д. Т. Ленский, И. В. Самарин, М. Н. Ермолова, петербургский актер В. В. Самойлов…

Литератора и актера Дмитрия Тимофеевича Ленского А. С.

Ушаков встречал в библиотеке Купеческого собрания, членом-наблюдателем которого состоял: «…тот все свое время проводил в читальной комнате, помещавшейся вверху, — его также буквально каждый вечер можно было встретить там за журналом или газетой».

Любовь Павловна Косицкая-Никулина была замужем за товарищем Ушакова по Московскому коммерческому училищу Никулиным, «страсть которого к театру ярко обнаружилась еще в этой школе и который не особенно долгое время был актером императорских театров и играл небольшие роли на московской Малой сцене…».

С Провом Михайловичем Садовским Ушаков познакомился через купца С. С. Кошеверова (таких едоков и хлебосолов, как Кошеверов, немного осталось в Москве, замечает Ушаков), в чьей лавке и знаменитый актер, и великий драматург А. Н. Островский были завсегдатаями. Садовский навещал Ушакова на его даче в Петровском парке. Для бенефиса Садовского Ушаков написал и посвятил ему пьесу «Комиссионер» (которая, однако, не была поставлена).

О семье Щепкиных упоминает в одном из писем П. А. Ефремову И. К. Разумов. Речь идет о праздновании в Татьянин день 110-летия основания Московского университета: «Студенты, старые и настоящие, собирались, жалко только, по частям… Двести человек было в Собрании, где ораторствовал старый Погодин. Еще около сотни собирались у Дюсо. Наконец, полсотни молодежи под председательством Щепкиных, Михаила, Павла и Николая, собрались у Турина». «Ругали дворян», — сообщает Разумов. При этом произносились речи «о дворянской подлости».

Знакомство Ушакова с М. С. Щепкиным состоялось следующим образом. Переведя пьесу Бальзака «Мачеха», Ушаков отправился к Щепкину, чтобы предложить ее для предстоящего бенефиса великого актера:

«…Отправился к нему на Мещанскую, где он жил, сколько помню, в своем доме, поехал я часов около двух — в то время он обыкновенно приезжал с репетиции и обедал; приехал этот благодушный человек, принял меня; вхожу и объясняю, благодарит, просит оставить пьесу и потом совершенно неожиданно для меня спрашивает, как гоголевский Петух, которого он и играл в переделке из «Мертвых душ»:

— А вы обедали?

— Нет…

— Так милости просим.

Я, разумеется, конфужусь, отказываюсь, иду в переднюю, он меня провожает, — вижу, в соседней комнате накрыт большой

стол приборов на четырнадцать, пятнадцать, и Михаил Семенович продолжает меня приглашать, но я отказываюсь, еще более конфужусь и ухожу».

«Вот до какой степени были развиты простота и гостеприимство у этого замечательного артиста и человека», — заключает Ушаков.

«Другой раз, — пишет он, — я встретился с Михаилом Семеновичем в Малом театре (мое кресло пришлось рядом с его, сколько помню, в третьем ряду) во время памятного спектакля, когда П. М. Садовский играл коронную роль Щепкина — Фамусова в «Горе от ума».

Вероятно, читатель ожидает передачи всевозможной критики игры Садовского со стороны Щепкина, и он даже, вероятно, останется не совсем доволен, когда услышит, что не только никакой критики, никаких придирок, никакого осуждения не услыхал я от знаменитого нашего артиста, но, напротив, встретил непритворное увлечение исполнением, хотя совершенно в другом роде, и Щепкин первый вызывал Садовского и громко аплодировал, и у него на глазах блестели слезы умиления; вот черты истинно великого артиста, которым незабвенный Михаил Семенович оставался до самой его смерти…»

Но не только о корифеях сцены повествует Ушаков. Он уделяет внимание и актерам-любителям, особенно когда это были люди, оставившие и вообще заметный след в культурной жизни Москвы:

«Импровизация С. А. Юрьева в Чтении в память Писемского в Обществе российской словесности была неумолкаемый рассказ блестящего изложения этой пьесы («Горькая судьбина». — Л. П.) и объяснения характеров главных действующих лиц».

Об А. Н. Плещееве А. С. Ушаков также отзывается как о чтеце-любителе: «…публично читал он неохотно и хорошо читал только свои лирические стихотворения… раз, во время одного спектакля нашего драматического кружка, сколько помню, в зале Московского коммерческого училища, его упросили прочесть сцену из второго акта «Горя от ума»… но в чтении обнаружилось более плещеевского добродушия, нежели грибоедовской соли».

Упомянув о Плещееве, Ушаков называет и «людей его кружка» — писателей-демократов В. А. Слепцова и А. И. Левитова:

«Собственно кружков в том, когда-то имевшем большое значение смысле, как кружок Станкевича, Герцена… в воспоминаемое мною время не было, и А. Н. Плещеев никогда не состоял в главе кружков; так как он был в то время человеком с известным направлением, то около него и собирались люди подобного же направления…

(Далее зачеркнуто: «…к которому кроме двух вышеозначенных принадлежал в то время и А. С. Суворин, живший в то время в Москве с первою своею женою Анной Ивановной на Плющихе, в маленьком деревянном сереньком домике, сколько помню, в Благовещенском переулке».)

В. А. Слепцова я знал мало; помню, что он раз участвовал на одном из литературных чтений, бывших довольно часто при нашей библиотеке, мастерски читал своих «Свиней» и выглядел очень элегантно, как А. Н. Плещеев, в то время, жрецом литературы…

То, что Слепцов читал великолепно, неудивительно. В сезон 1854/55 г. он был актером на ведущих ролях в Ярославле.

Сашу Левитова я знал близко и хорошо, это-то истинно была простая, русская, деревенская душа, и всю эту душу он клал в то, что писал, в то, что он поистине творил. Но то необеспеченное положение, в котором он явился в Москву, буквально без гроша в кармане, и не могло никогда при его бесхитростной, почти детской душе хотя сколько-нибудь и на сколько-нибудь определенно поставить его на ноги. Это и по виду был человек не от мира сего: небольшого роста, худощавый, с миниатюрными чертами, с белокурыми с желтоватым оттенком волосами, в истрепанном костюме, — в легоньком картузе и [с] большей частью худыми сапогами, на что он нередко указывал, когда уже его нужда переходила через край. Бывши и сам в постоянных недостатках, делишься с ним, бывало, чем возможно; едем, бывало, по закрытии библиотеки с женой на дачу, он присядет на облучок; идешь в клуб, и он пойдет почитать; и пока у него есть, как он выражался, «работишка», пока горит в его душе зароненная в нее, несомненно, искра Божия, он еще, бывало, держится на известной высоте; а потом, как, по его выражению, «прорвет», он куда-то пропадет, очутится где-то в каком-либо подвале по соседству с прачками и хоть и утратит, бывало, до некоторой степени наружность образа Божия, но своего достоинства человеческого никогда не потеряет…

Хорошее, освежающее впечатление по большей части производила личность Саши Левитова, беспечальный, светлый был этот человек».

А. С. Ушаков умер 22 марта 1902 года в Москве.

В «Московских ведомостях» был помещен некролог, который мы приведем с некоторыми сокращениями:

«Нельзя не посвятить несколько строк памяти только что скончавшегося Александра Сергеевича Ушакова.

Было время — шестидесятые и семидесятые годы прошлого столетия, — когда покойный во цвете лет и сил устроил в Москве

обширную общественную библиотеку для чтения и при ней книжный магазин, которые долго служили привлекательным центром для любителей просвещения благодаря симпатичному хозяину и изящной приветливости его первой супруги Ф. И. Ушаковой.

В этот же период своей деятельности покойный выступил на литературном поприще: частью под своей фамилией, частью под псевдонимом «Н. Скавронский»…

Наконец, следует с благодарностью упомянуть, что покойный А. С. Ушаков в 1888 году пожертвовал около ста тысяч рублей «на воспособление к возведению отдельного здания для помещения фундаментальной библиотеки Московского университета». Этот дар навеки сохранил имя почившего в летописи старейшего рассадника русского просвещения и послужит самым лучшим памятником его постоянного сочувствия делу русского образования».

Могила Фелицаты Ивановны Ушаковой находится на 2-м участке Ваганьковского кладбища. Надгробие — усеченная беломраморная пирамида с ангелом наверху. Несколько лет назад ангела сняли, так как потребовалось перенести ограду соседней могилы. Благодаря вмешательству МГО ВООПИиК, и в особенности В. В. Сорокина, ангел был водворен на место.

Александр Сергеевич Ушаков и его вторая жена были похоронены на кладбище Алексеевского монастыря (возле станции метро «Красносельская», на Верхней Красносельской улице). В советское время на этом месте был разбит детский парк, сейчас оно застроено.

Л. Д. Полиновская

ОЧЕРКИ МОСКВЫ. ВЫПУСКЪ ПЕРВЫЙ

ОЧЕРКИ
МОСКВЫ.

—

Н. СКАВРОНСКАГО.

ВЫПУСКЪ ПЕРВЫЙ

СОДЕРЖАНІЕ.

1) Общій видъ.
2) Городская часть.
3) Рогожская часть.
4) Замоскворѣчье.
5) Лефортовская часть.
6) Паркъ и Сокольники.

МОСКВА.

1862.

Цѣна 50 к. сер.

ОБЩИЙ ВИД

Надо сознаться, что Москва очень странный город: какой-то причудливый, пестрый, самостоятельный, своеобразный. Прежде всего он вас страшно обрадует, потом рассердит, а потом, если вы одинокий и нет у вас кучи родных и знакомых — дядюшек, тетушек, кузин, то она наведет на вас страшную тоску… Въезжайте откуда угодно в матушку-белокаменную — хоть изнутри России, из деревни, из степей, хоть из Петербурга, хоть из-за границы по Варшавскому пути — хоть вы и не москвич, вы непременно ей обрадуетесь — почему? — Бог знает, может быть, потому, что:

Москва… как много в этом звуке Для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось!

Провинциал, кроме этого, обрадуется ей как городу: он, въезжая в нее, не будет помнить слова Чацкого:

Москва и город? — Ты чудак!

Если он никуда не выезжал, то в Москве найдет город богатый, шумный, у него, пожалуй, закружится голова… Петербуржец обрадуется ей как первому русскому городу; человек, долго живший за границей, встретится в ней первый раз с Россией, с чисто русской речью, с русской жизнью — со всем ее хорошим и дурным… Вот почему она — Москва — страшно обрадует всякого, кто в нее хоть в первый раз въезжает…

Поживите в ней — и она вас рассердит, страшно Рассердит, рассердит всякого — и провинциала, и петербуржца, и человека, почти совсем отвыкшего от Русских форм жизни, каких отщепенцев немало…

Ничто так не располагает к мечтательности, к лени, наслаждениям всякого рода, иногда некоторыми сторонами напоминающим Восток и Азию, ко всем затеям заманчивого свойства, как наш град первопрестольный!.. Ну, думает провинциал, наконец я в Москве! И от этой мысли вся широта и полнота русского духа порывается наружу… Троицкий, уха стерляжья, расстегаи, поросенок белоснежный, икра, калач и вдовушка Клико — и вот уже и Ильинка, вот и Троицкий, уха янтарная и искрометное Клико; там театр, роскошь, музыка, балет, потом в соседстве маскарад, спертый и жаркий воздух, блеск, музыка и женские слова, там тройка русская от Ечкина, лихая; застава, гладкая дорога, морозу градусов пятнадцать, tete-a-tete, и приют тихий, теплый и снегом занесенный… Забыто все: дом и совесть, жена и дети, и дела по банку; деньги льются, и наслажденьям нет конца… Там клуб, игра и ужин, Муромский,

Кречинский, а скоро и первого последние слова: «Бежать, матушка, бежать!..» Ну вот и рассердился!.. Пустой карман, тяжелая голова, дела все в беспорядке, иногда надо на дорогу занимать — ну, как не рассердиться?

Посмотрим — что-то петербуржец. Приехал он за делом, человек расчетливый, немного европейский, остановился… ну, хоть у Шевалдышева, положим; прошел день, а с ним вместе почти уже исчезло и обаяние Москвы: ему, во-первых, кажется все грязно, Тверская — переулок, не улица, Кузнецкий мост — пародия Невского проспекта, гостиницы — трактиры, трактиры — будто бы харчевни, слуги — оборвыши, половые — больно прытки, просят на чай, все им объясни да растолкуй; на бирже был — нашел кучу народу, обсыпанную снегом: тут и купцы, тут и извозчики, прохожие и женщины, ходят, толкаются, шумят между занятыми людьми… Фуй, странно!.. Раз пять в день чаем напоили, съездил в два места — расстояния ужасные — и день прошел!.. Нет, не доволен я Москвою! J День третий: старый школьный товарищ в гости пригласил, куда-то за Москву-реку — Полянка, Якиманка, что-то в этом роде. Едет. Небольшой дикий домик, вблизи церковь старинная, пред нею будка, пред нею страж и адрес-календарь… Ездил, спрашивал. Кружил кругом, раз пять проехал мимо дому — фамилию не так произносил, а потому едва добился толку; потом наконец дверь — вдруг три крыльца — в которое?.. Бог знает: ни знака, ни доски; на дворе ни души; но вот попал, хотя то было уже второе, — вот небольшие комнатки, тепло и чисто, диван, ковры, картины, канарейка у окна, стол с самоваром, за ним хозяйка молодая и товарищ юных лет — здоровый и счастливый, с такими полными щеками, со звонким смехом и с порядочной сигарой; входит девушка, чистенькая, хорошенькая, здоровенькая такая, так кланяется робко, так смотрит ласково да мягко… Горят свечи, сигарой славно пахнет; умный, оживленный разговор и женский смех и детский писк в соседстве… Славно ведь живется!.. Тихо, счастливо, ничто их так не бесит, не раздражает, нет у них такого желчного лица, как у меня, думает петербуржец, да и быть его не может, потому что здесь климат здоровый, теплый, и жизнь более нормальная, покойная, вот женат, счастлив, покоен — что ему; главное — жена, покой и дети!.. А уже товарищ замечает, что так расположило петербуржца, над чем он так задумался…

— Что, брат, что, и тебя поразбирает, смотря на мою жизнь? Женись, брат: это один роман, который можно в жизни допустить, — жизнь нормальная, святая!

— Что ты, полно, полно! — отвечает испуганный петербуржец. — Что за женитьба в наше время!

— Брось ты все это, — отвечает тот, — женись, увидишь сам, как все пойдет отлично… Верь: вот я тебе могу примером быть!..

— Да что ты, что ты, полно, полно!

А тут вмешается жена, тут будто ненароком кивнут на близстоящую девушку с алеющими щеками… ну, петербуржец и рассердился.

«На что же это, — думает он, — похоже: здесь совсем приличий никаких не знают».

Потом партия в преферанс, потом ужин легонький, бутылка светлого вина — и грустно стало петербуржцу расстаться с тихим уголком, и, вздохнув, садится он в сани, вздохнув, он едет… Мертво и тихо все кругом, фонарь как будто дразнит светом; мост Каменный, высокий, новый, напомнил Петербург, вдали крики — «караул».

Это что такое? — спрашивает он.

Грабят где-нибудь, должно быть, — равнодушно говорит извозчик…

Да как же, братец, грабят, где ж полиция?

Гм, полиция!., да где ж ей за всем усмотреть!

Да как же это? Поезжай, братец, поскорее!

— Ничего, барин, небось далеко — уедем! И вот опять мечта спугнулась: холод, снег, расстоянья, ухабы к действительности голой воротили.

«Нет, — думает он, — уеду, завтра же уеду — ну ее, эту Москву: тут как раз и женят и ограбят! Жениться? А политическая экономия, а пауперизм… нет, нет, уеду, завтра же уеду…»

Посмотрим, какое впечатление производит наша Москва на иностранца или и на русского человека, но уже пожившего за границей и привыкнувшего к другим формам жизни… Если он воротился прямо из больших городов — Лондона, Парижа, то первое, что резко бросается в глаза, — это пустота, разобщенность жизни, бедность содержания в огромных рамках; цены на все: на жизненные припасы, платье, удовольствия — без преувеличения поразят его! Потом невольно почувствуется, как будто он совершенно отделен от прежней жизни, как будто бы Европа с своею жизнью, всеми ее удобствами, дешевизною, удобством подвижности, со всем, что выработало время, — как-то страшно далеко, что она тут какой-то сказочный мир, а кажется, как скоро перенесется оттуда и сюда… Осматриваясь все более и более кругом, это странное настроение духа начинает понемногу исчезать: он находит все более и более следы того, что видел, чем жил долгое время: вот газеты, которые он читал в Лондоне, в Париже, в Антверпене; вот произведения лучших европейских, фабрик; кругом как будто формы прежней жизни | и вместе с тем

что-то новое, другое. Если он иностранец, то его завлечет этот новый для него мир: он в него начнет вглядываться, изучать его; он его поразит своими размерами, своими громадными силами, еще не. совсем дружно ставшими к работе, еще много дремлющими, еще ищущими дела. Громадный, новый, свежий мир! В нем чувствуешь себя как-то свежей, моложе, крепче… Но, несмотря на то, зачем он так страшно сердит, так мучит, так равнодушно часто дремлет, хотя его и разбудил толчок громовой, зачем он так ленив, так страшно неподвижен, так многому неправо улыбается и смеется над тем, что совсем не стоит, не достойно смеха. Так чувствуется невольно в Москве как в центре этого мира всякому, кто приезжает в нее жить и делать, спешит делом… Жизнь в Европе так приучает к делу, так заставляет дорожить временем, что боишься потерять каждую минуту, пользуешься отдыхом как роскошью, как необходимостью… И труд идет правильно, без задержек, знаешь, куда вложить каждый винтик, где ударить молотком — машина движется на всем ходу… Между тем как здесь… ну хоть в Москве, еще мало замечается правильный ход общественной машины — чувствуешь, как будто живешь на стройке, что со всех сторон навезено разного материала, во многих местах врыты столбы, положены перекладины кое-где и еще только в воображении стройное, правильное здание.

Немудрено, что человеку, жившему там, где уже все сформировалось и кое-где начинает обваливаться, кажется непокойно здесь у нас. Но мы, москвичи, мы привыкли к этой стройке, она в наших глазах имеет свою поэзию, нам любо каждое утро проверить, что сделано в течение прошлого дня, мы со вниманием читаем отчеты по каждой части, надо только заботиться, чтобы подрядчики были исправны, чтобы материал был прочный и надежный, сытнее и дешевле накормлены работники, меньше скупщиков и припасов, меньше злоупотреблений, и веселей бы шла работа. Москва хоть не правление, но все-таки одна из главных контор общественной постройки…

Во всякое время переворотов и покоя, днем и ночью, жизнь, строго соблюдая свои права, идет своим порядком: она шла, когда Москва смотрела старым зданием, давно уже требующим поправки, тая в себе всю мочь, все силы молодые, она идет теперь, когда по старым стенам она увешалась громкими вывесками всевозможной новизны, когда в ней так много всевозможных представителей явилось, всего — и начатых и неначатых дорог железных, обществ страховых, газовых освещений, обещающих заменить когда-то тусклые фонари

блестящим газом, и проч.; она будет идти, когда и явится все это, когда для нее настанет золотой век счастья, когда рубль чего-нибудь Да будет стоить, когда сообщения не будут произволом, железные дороги откроют ей Юг, Север, Запад и Восток… — одним словом, когда пойдет все другою Чередою и когда, пожалуй, уже не будет нас, — она — Жизнь — всегда без конца будет идти. Посмотрим, в каких формах идет она теперь и как распределяется.

Надо родиться в Москве или очень долго прожить в ней, чтобы хорошо познакомиться с ее особенностями, хоть сколько-нибудь узнать ее характер, уловить во всем разнообразии, во всех оттенках, на взгляд, по-видимому, одинаковый, общий тип жизни. И характер и местность составляют предмет долгого изучения для человека постороннего, не москвича… Как шумная, людная улица, по которой вы спокойно идете, приведет вас нежданно-негаданно в какой-нибудь переулок, в котором, делая несколько шагов, вы попадете в третий, в четвертый и потом, к вашему удивлению, осматриваясь, видите какую-нибудь странную местность, какой-то пустырь с огромными бесконечными заборами и маленькими клетушками вместо домов, с оврагами и кучами сора, со стадами кур, гусей, уток, с роющеюся где-нибудь в углу свиньей — почти близкое подобие уездного города и торгового села, с кузницей, с грязными, полуодетыми работниками; так и характер жизни, обманув наружными формами, незаметно увлекает нас в свои тайники и в свои переулки, и как раз поставит с глазу на глаз с чем-то подобным вышеозначенной местности, со всеми ее атрибутами (даже со свиньей), в которой если не запутаешься, то с усилием выйдешь, и то с помощью поклонов и расспросов…

Кипя, с одной стороны, деятельностью, представляя ряды лавок, магазинов, оживленное движение, даже иногда, в некоторые дни адову тесноту, Москва, с другой стороны, хранит в себе такие закоулки, которые своей обстановкой напоминают самые дальние и глухие углы России; часто среди города, где-нибудь невдалеке, в стороне, тянутся огороды, шумят на огромном протяжении сады, располагается фабрика несколькими корпусами, какой-нибудь завод, монастырь с высокими стенами, кельи и все подвиги спасения… Зайдите за ограду, побродите по зелени, шумящей вкруг нее, прислушайтесь к протяжному гулу монастырских часов, и вы подумаете, что Бог весть где.4 а город на глазах, вышли, и он перед вами зашумит; Движение, вливаясь, положим, хотя от железной дороги, растекаясь по Мясницкой, Покровке, по Тверской, достигает самого быстрого стремления на Ильий ке, на Кузнецком мосту, потом как-то неравномерна

распределяется по всему пространству, одною стороною задевает соседние улицы с Тверской, наполняет Зарядье, скопляется на Москворецком и Каменном мостах, тихо журча, разливается по Замоскворечье) и кое-где отбивается в стороны… Какое, например различие, какой контраст в распределении и движении, не говоря еще о формах, представляет Замоскворечье с остальною частью города: проезжайте Балчуг, Чугунный мост, Пятницкую, сворачивайте на Ордынку и пред вами вместо саней, кучи мелькавшего уличного движения, вместо ванек, крикливых кучеров, откормленных рысаков, рассыпающихся во всю ширину улицы розвальней, телег, дровней, жмущихся по краям вместе с теряющимися в толпе мужичками от грозных окриков своих собратов, возвысившихся до козел, от палки будочника, от нагайки казака — вместо пестрой, шумной, разнообразной картины спуска от Василия Блаженного, картины Москворецкого моста со всею характеристичною обстановкою Кремля, его соборами, башнями, зубчатою стеною, дворцом и колокольней, вместо великолепной панорамы Москвы-реки, замыкающейся с одной стороны Воспитательным домом, а с другой — храмом Спасителя, вместо всей этой шумной, оригинальной, редкой картины, в рамках которой Москва выказывается громадным, оригинальным, в высшей степени любопытным городом, — на Ордынке, Полянке и прочих им подобных пред вами раскинется любой губернский или, пожалуй, даже лучшая улица уездного города, длинный ряд домов с запертыми воротами, по улице стая собак, где-нибудь на углу трактир, жизнь по преимуществу купеческая, самостоятельная, отдельная; овощная лавка, лениво, сонливо едущий извозчик, песня без слов вдали; стоит задуматься, и невольно охватит вас и приятная, и вместе с тем какая-то невольно трогающая тишина: живо представится, что вы будто далеко, где-то на краю, в тиши, жизнь, движенье далеки, и бедное выраженье кругом идущей жизни только в грустном, в протяжном, в непрерывающемся напеве песни, в глухо, тоскливо льющейся песне… Но пролетит жирный, дорогой, откормленный рысак в щегольских санях, промчится мимо почтовая тройка со свистом, гиком и гамом ямщика — как они обыкновенно въезжают в свою родную Белокаменную — и все это снова напомнит вам Москву…

Сравните теперь с этим кипучую жизнь рядом, всю пестроту, всю оригинальность этой жизни, смесь типов, множество приезжих из разных мест, из разных городов, разнообразие наречий, костюмы татар, армян, малороссов, греков и над всем этим великорусский тип, примесь к нему везде и всюду приютившихся немцев, частичку французов, всю эту смесь

характеров, пестроту отношений… Загляните на множество подворий, с их вечным движением и каждый день сменяющимися жильцами, с их чадом, грязью, кипящими целый день самоварами, духотой, жаром, домашними перинами, напоминающими вам, может быть, недавнее прошлое, а может быть, еще, в некоторых отношениях, и настоящее Москвы; войдите, наконец, в Троицкий трактир в будничный день, часа в два, три, и вы, смотря на это вечное, неуспокаивающееся движение, этот прилив и отлив, этот неумолкающий глухой шум, переговоры, сделки, покупки за неизменными тремя, четырьмя, пятью парами чая, легко поймете, какою деятельною жизнию живет Москва, как оригинальна эта жизнь и как трудно уловить ее, кажущееся однообразным, выражение.

Три, четыре, пять верст от этого шумного центра, какое-нибудь предместье — хоть Преображенское, Семеновское, и жизнь и ее обстановка сменяют пред вами свои формы: опять вместо временем шумных улиц пред вами длинные пустые расстояния, узкие переулки, опять что-то вроде Замоскворечья, но уже с совершенно новою обстановкой — быт промышленный, фабричный, массы фабрик, огромные корпуса, высокие трубы, сады, дачи, дома фабрикантов. Яуза; с одной стороны Сокольники, с другой застава, а там поля, село… Другого рода жизнь, другого рода деятельность — фабричный быт русского крестьянина вне дома, жизнь бессемейная, полугородская, полусельская, с одной стороны; с другой — жизнь фабриканта опять в других формах, с своими характеристическими особенностями против жизни купца, торговца…

Поварская, Пречистенка, Дмитровка и прочее в этом роде живут опять своею отдельною жизнию — быт барский, помещичий; дома с подъездами, громкие фамилии и даже еще кое-где львы на воротах; Сеньки, Ваньки, Федьки в ливреях и без ливрей; растворенны ворота, кареты у подъезда и тихо, робко выезжающий крестьянин в ободранном полушубке из ворот; его пустые розвальни, убогая лошадка и обнаженная гол ва пред барским домом… Сколько форм, сколько разнообразия, сколько не похожих одно на другое явлений в самобытной жизни Москвы: чем более в нее вглядываешься, тем более становится понятно ее давнее название — сердце России…

Возьмем теперь другую сторону жизни, тронем слегка, сколько нам позволит это краткое вступление к «Очеркам Москвы», свод московских преданий, поверий, перешедших в приметы, обыкновений, сноровок, тех мало заметных, скрытых, но приводящих все в действие пружин, изучение которых составляет предмет, занимающий многих, — этих особенных приноровле-ний

к духу, к настроению, при котором становится понятна пословица: что город, то норов, и известное историческое предположение, что если бы Григорий Отрепьев ходил чаще в баню да не ел бы по средам и пятницам скоромного, то дольше бы прослыл за Дмитрия… В очерках наших мы надеемся коснуться только тех особенностей, которые составляют характеристичность жизни, и собственно в том классе, где она ярче, заметнее.

Преданий и поверий много в этой жизни, в значительном обществе они еще играют роль верований, почти убеждений, под их влиянием вырастают многие, они особенно действуют на женские характеры: развивают в них мистицизм, особенную робость, тот склад взглядов и убеждений, которым отличается женщина здешнего среднего класса от женщины петербургской, от иностранки. Много еще и теперь, в наше время, вечером, особенно зимою или в долгие осенние вечера, когда начинают засиживать, что еще сохранилось и имеет значение, рассказывается сказок какой-нибудь словоохотливой старушкой-няней, много еще слушается этих сказок, особенно детьми-девочками; некоторые из них, бывающие в пансионах и читающие украдкой романы, начинают подсмеиваться над ними и называют это глупостями; другие же, развивающиеся не так быстро, слушают их жадно и сердятся на замечания своих подруг или сестер. Свежая русская натура находит часто больше поэзии в простой русской сказке, в народном предании, в песне, рассказанной или спетой даже старым, дребезжащим голосом няни, нежели в модном французском романсе.

Во многих скромных уголках, часто рядом с богатыми домами, где жизнь движется совсем в других формах, вечер проходит такою чередою — и это составляет одну из характерностей Москвы, где высшее развитие жизни, образование в блестящих формах, со всеми удобствами жизни, со светлым взглядом на вещи, часто даже с чересчур широким, русским размахом в мнениях, желающих перегнать всех, является рядом и первобытная поэзия народа с его верованиями, поверьями, и что между этими двумя крайностями, дробящимися до бесконечности, в стороне стоит темный ряд упорных, странных верований, перешедших в убеждение, отстаиваемых с упорным упрямством; рядом с раннею, свежею поэзиею сказок, песен, развившихся до народной комедии и драмы, сердито глядит упорная, сумрачная старина в своем замкнутом быте; рядом с первоклассными произведениями лучших европейских умов лежит свод вздору — рутина.

Трудно пересчитать все приметы, которым еще веруют серьезно, которые перемешались с религиозными верованиями:

суеверия еще играют важную роль; юродивые еще собирают обильную жатву; предсказатели и вещуны еще ходят толпами; всякого рода так называемые люди Божие бьют себе во имя Христа баклуши; живут еще разные батюшки и матушки, составляют капитальцы или проживают процентики — а бедному человеку, загнанному, забитому, запуганному, не всегда сыщется доброхотный датель, не всегда найдется и работа, не всегда помогут, хотя в этом отчасти и не всегда можно нас упрекнуть, хоть на том самом основании, что у нас немало нищих в собственном, точном смысле слова…

Как приметы три свечи в комнате, тринадцать за столом, ворон на кресте, чесание бровей, переносицы, глаз, копанье носа, разбитие чашки, посуды ненарочно, разный мотив шуменья самовара, вой ветра в трубе, тон этого воя, больше или меньше тресканье дров при растопке печки… все это имеет более или менее важное значение… Разумеется, это во многих местах уже принято за шуточную форму, во многих же принимается более или менее серьезно, во многих существует как убеждение; но вся разнообразная степень выражений вместе с вышеприведенным дает колорит самобытности и особенностям московской жизни…

Теперь сноровка! Сноровка также важное дело в жизни, а в московской жизни надо обладать московским тактом, особенно сноровкой… Многие говорят, что наша матушка Москва такой город, что здесь всякого рода умствования и философствования никуда не годятся — живи так, как ей хочется, и она тебя полюбит; теорий не нужно — они скучны — давай дело, дело! Действительно, в Москве по большей части частный, своеобразный склад русского ума во всем его первообразе, и она меняет людей, по крайней мере если не в их убеждениях, так в форме… Недаром же выработалось слово москвич и стало каким-то нарицательным именем… Вся эта видимая перемена напоминает нам повесть г-жи Павловой «За чайным столом», развитие одним из представленных ею лиц старинной русской сказки об двух братьях умных и одном дурачке — известном Иванушке… Таких Иванушек — тихих, скромненьких, себе на уме — во всем разнообразии форм — богобоязливых, недальних и не смеющих сметь свое суждение иметь и т. д. — много производит Москва; около них, по большей части, вертится вся оригинальная своего рода сноровка, ими-то пускаются в ход разные пружины, они-то и достигают всех своих заповеданных целей: принимаются, наживаются, женятся и, достигнувши заповеданного, ставши на свои ноги, являются уже совершенно в другом виде. «Ах, мои матушки, такой-то стал, что и не признаешь совсем!» Не только в скромном мире московских матушек и тетушек, но и в более

серьезном и обширном — в торговле, в деле, в обществе повести г-жи Павловой эти личности, все еще заменяя службу прислуживанием, идут вперед, кое-где встречая оттиски, не робеют пред ними, хорошо понимают пословицу, что и капля воды долбит камень, не покидают своих поклонов, улыбочек — и во многих отношениях достигают своих целей; оттенков их много, и в отношении их можно провести довольно любопытную и новую черту; как бы прогресс со времени Молча-лина: над ними уже смеются, их понимают, а все-таки с улыбкой самодовольства принимают их куренья… Преднамеренная сжатость и скупость иногда открывают кредит. Наружный блеск и блестящая обстановка еще кое-где принимаются за богатство… Время уже яРко освещает подобные скрытые пружины, но еще их много движется и работает там, где еще мало освещено. Недаром же Петербург боится Москвы; многие дела, состояния — вообще загадочное дело, много непонятного; часто там, где добиваются до начала, нежданно-негаданно является конец… Сноровок, такту множество: наружная набожность слагается в религиозность, пост вызывает множество забавных сцен, пятница и среда принимаются кое-где за пробный камень нравственности… и т. д., и т. п. до бесконечности…

А между тем рядом с этими забавными, обращающимися иногда и в незабавные, явлениями сколько светлого, ясного, чистого русского в характере московской жизни; старинное русское хлебосольство, радушие, усилие сохранить свои народные национальные начала, эта живая, горячечная восприимчивость всего нового, всего лучшего… громкий смех над тем, что действительно смешно и вызвано всем на смех, свое особенное русское лукавство и какой-то особенный практический взгляд на новые явления, весь ход жизни, во всей своей пестроте, со своим хорошим и дурным — послеобеденный сон рядом с тяжелою работой, медь с серебром, родные песни после итальянской арии, лихая тройка за дышловою парой — будни рядом с праздником — праздники как точки, около которых еще разнообразнее, еще ярче выказывается жизнь. Но что за странное явление замечается невольно с некоторого времени, как только хотя немножко поразнежишься в этом праздничном настроении: как будто совестно становится всех этих атрибутов беспечной московской жизни; многие из записных ленивцев говорят, что у них даже в самые безмятежные минуты подымается вопрос один сложнее другого, что их занимает теперь то, чего они сперва не замечали, — дороговизна, безденежье, судьба крестьянина, что наше время не дает покойно и безмятежно-счастливо прожить даже в Москве, что уже в ней как-то формы жизни изменяют свой

вид, как-то все сливается в одно, что будто уже заезжему хвату военной косточки, густым эполетам или Св. Анне на толстой шее все реже и реже приходится сделать свою карьеру, поправить свои делишки откормленной московской невестой, что будто и по купеческим свадьбам перестали уже возить наемного генерала, следовательно, отказываются от ложного тщеславия, что будто является сознание народной гордости и каждый анекдот, проявление ее, рассказывается на тысячи манеров несколькими тысячами человек и что уже обеды, балы и сплетни, пересуды не составляют насущной потребности, даже не считаются делом: общество занято более серьезным, что будто выходят из употребления знаменитые, известные всей России московские свахи, что и брак меньше похож на куплю и продажу, и что душа, без различия, как она есть — мужеская или женская, ревизская или какая-нибудь простая — не составляет уже товара. Одним словом, будто все перевернулось, переменилось: и квартальные стали вежливы, и купцы меньше кланяются, и чиновники бегают от взяток, что развиваются новые понятия… Так ли все это и в какой степени так? Неужели в самом деле Москва расстается с своим добрым старым временем, которое было так хорошо сложилось, что только любо-дорого?.. Не уяснят ли нам следующие очерки этого предмета, мы будем их снимать без всяких украшений, хоть только один абрис, но верный, как все есть, как идет… Начнем хоть с очень важного в Москве, с так называемого Города…

ГОРОДСКАЯ ЧАСТЬ

Городская часть составляет центр Москвы, средоточие ее торговой деятельности и место, в котором происходит большая часть жизни и московского купца и множества лиц, существующих службою при торговле.

Кроме того, в ее область входит самая значительная часть святыни московской, или по крайней мере она вместе с другою святыней — местами наблюдения за нарушением человеческих прав, местами, в которых должны раздаваться голоса за эти права, где должен стоять закон за них, — находится в соседстве с Городской частью собственно.

Область этой части весьма обширная, и она — самая живая, самая деятельная, самая обычливая из всех мест Москвы… Здесь мы помещаем только очерк ее, предполагая взойти в более подробное исследование в отдельных статьях, под общим названием «параллели»… В параллель нашего Города легко и удобно может быть поставлено английское Сити.

Область. Собственно так называемый Город занимает довольно значительное пространство: его можно о означить с двух противоположных сторон: с одной воротами Владимирскими и Ильинскими и промежду ними находящимися Проломными; с другой — Никольскими и Спасскими, замечательными тем, что каждому проходящему и проезжающему приходится под ними снимать шапку. С других сторон Город сбегает к Москворецкому и Каменным мостам и пересекается пред оригинальною старою Москвою — Замоскворечьем Москвой-рекою; а вправо упирается в Иверские ворота с окружающими их Думою, ямою, гражданскими палатами, сиротским судом и прочими присутственными местами. Рядами, Гостиным двором, узкими и грязными переулками и съездом вблизи церкви Василия Блаженного Город спускается к Варварке, влево достигает до Варварских ворот и выходит из них на памятный по событиям чумного года образ Боголюбской Божией Матери и на площадь. Прямо же спускается к смрадному Зарядью, месту недавнего побоища русских и евреев, с чрезвычайно плотным народонаселением и чрезвычайно грязному, даже и в красное лето. Область Города собственно почти квадратная, пространство ее вмещает столько особенного, характеристического, что мы коротко и сжато скажем несколько слов о каждой из этих частей…

Ряды. Ряды составляют свой особый мир, с своим уставом, с своим взглядом на вещи, с своими понятиями о деле и чести, с своим языком, с своим обращением, которое даже известно и

большинству под названием рядского… Рядов несколько, и каждый из них имеет свое особенное название по предметам обращающейся в нем торговли: Суровской, Панской, Юхотной, Москательная линия, Серебряная линия и т. п. Названий очень много; немало из них уже потеряли свое значение. Что, например, за Ножевая линия, в которой преимущественно торгуют модными товарами? Не обидно ли для русских фабрикантов название Ветошного ряда, где они более всего помещаются? Неужели весь их товар не более как ветошь? Это названия старые, не имеющие уже ничего общего с настоящим. Есть даже особый Квасной ряд, который легко и удобно может заменить старинный Обжорный… Ряды занимают два огромных сарая, нисколько не приноровленных к делу зданий. Это громадные погреба, или пещеры, на открытом воздухе: сырость в них, особенно зимою и осенью, по словам даже невзыскательных торговцев наших, убийственная; человек, не привыкший к их атмосфере, которая в большую часть года может сравниться с копями сибирских россыпей, может в непродолжительном времени нажить ревматизм или простудиться в них навсегда… Привычка да и привычка заставляет выносить все дурное влияние этих помещений. Купцу, залитому жиром, тепло одетому, да еще по большей части выпившему, разумеется, тепло; многие же из числа торгующих, люди не так огражденные своим сложением и желающие делать дело с свежей головой, давно и крепко жалуются на наши ряды, и мы служим только отголоском общего о них мнения, нисколько не желая быть выскочкой… Представьте себе только сырую, мокрую погоду или снег: везде течет, метет, завевает, везде сырость, лужи или сугробы снега, которые кучами располагаются в рядах, за исключением тех, которые несколько скрыты, — там вместо этого вода, спускаясь по трубам, выступает на сточных местах или вместе со снегом пробивает в худые рамы — отовсюду сырость, из воздуха, из стен, сверху, снизу… Гостиный двор представляет те же неудобства, если еще не большие, потому что, продуваемый насквозь, защищен крайне плохо разбитыми во многих местах ветхими рамами и нижнею своею частию совершенно открыт всем причудливым фантазиям нашего климата, дарящим нас хоть бы такою зимою, как прошлая, или хоть подобным мартом и апрелем, как текущего года. Был план сделать теплым Гостиный двор, сделана была, как мы слышали, и смета, собиралась для этого компания, но дело остановилось ни на чем. Не потому ли, может быть, что большинство лавок и в Гостином дворе и в Городе принадлежит людям, защищенным от холода своею собственною шубою, слоем жира в несколько пальцев толщины и подогревающими винными

парами? Что бы, кажется, на них смотреть? Не старое время: за лавки-то они берут 300, да 500, да 1000 р. — будет, нажились, должны поделиться своими излишками с менее богатым обществом, которое до сих пор служит им пищею… Петербург взялся за квартирных притеснителей, за этих своего рода откупщиков, пора и Москве.

Пора заставить замолкнуть их сильный в свое время голос, основанный на одном самодурстве, хоть бы из внимания к тому, чему предоставлен бедный мальчик, во ногих местах почти дитя, дурно одетый, дурно накормленный, греющийся на двадцатиградусном морозе чаем, который мерзнет в стакане! Что выносит при таких условиях бедный приказчик, получающий 100, 150 руб. жалованья на своем платье? Тут не до почтения этим идолам, не до воскурения им подлого подслуживания и лести. «Вы сильно выражаетесь», — скажут, быть может, мне… Но иначе не прошибешь их жирной кожи, нагуленной на счет народной худобы, отвечу я на эту заметку.

Безалаберщина в рядах страшная, временем пройти в них трудно. В москательных наставлены бочки, бочонки, плиты олова, бутыли с разными кислотами; в красных — кипы товару, коробки, скамейки, все это почти на самой дороге, без порядку, без всякой идеи удобства; Меховой ряд заколочен и завешен изнутри лавок синим коленкором, чтобы свет как можно слабее проходил и таким образом меха казались бы темнее. Есть, разумеется, немного исключений из торговцев мехами, которые не прибегают к этому способу. Юхотный, Хрустальный, Ветошный представляют те же неудобства… Юхотный из всех особенно грязен и сыр, как глубокий погреб, Хрустальный завален более других тесно, несмотря на то, что открыт; Ветошный узок, тесен и часто в буквальном смысле непроходим, особенно при входе… Нельзя, разумеется, требовать безусловно чистоты от места, в котором с утра до ночи кипит работа, но нельзя допускать совершенно открытый произвол в загромождении прохода и часто загораживании соседней лавки, что ведет к нередким крупным перебранкам и неудовольствиям между даже крайне неприхотливым купечеством нашим. Артель — замечательная общественная форма производства работ — несмотря на всю ловкость и привычку к делу, решительно выбивается из сил от неудобства положения и неимения никаких вспомогательных средств своим сильным рукам, ни блоков, ни носилок, даже лишенная иногда возможности продвинуть и тележки между узкими проходами… Кем же идет все это дело, кто направляет его, кто заботится хотя о каком-нибудь порядке в рядах? Староста, ответим, но никак не остановимся на этом и

постараемся объяснить, что такое рядский староста. Рядский староста выбирается из расстроившихся купцов, ему собирают 2–3 руб-с лавки, он не более не менее как человек, которого терпят из милости, человек загнанный, без голосу, без малейшего права распорядиться чем бы то ни было, он так же, как и биржевой староста в Москве, — мишень для всякого рода незаслуженных обид. Староста, скажем без преувеличения, большею частию жалкий человек, который тем более может держаться, а следовательно, и иметь дневное пропитание, чем будет более молчать и не мешать самодурствовать всем и каждому. Прямой вывод из этого: рядский староста — место, звание, а не человек, сознающий свое назначение, не человек с правом голоса… Он так загнан, так забит в своем положении, что смешно бы было даже предполагать в нем какое-либо сопротивление натиску или несправедливым притязаниям власти извне. Мы сами видели одного из старост без фуражки пред будочником; предоставляем судить, что было бы с ним перед полицмейстером?.. То ли дело артельный староста — это, большею частию, молодец, умнейший из работников, расторопный, бойкий, человек всегда или большею частию даже с природным сильным голосом.

Почему бы не взять примера с народа? Что им выдумано, то большею частию прочно. Староста — и почти что-то вроде древнего шута! Может ли быть более извращен прямой смысл слова и понятия, им выражаемого?

Имея намерение передать только очерк Города, и только со временем войти в более подробное исследование, мы не можем разбирать здесь все обстоятельства рядской жизни, мы только постараемся объяснить ту важность, которую имеет более подробное и откровенное их описание.

В рядах вырастает и образуется большинство московского купечества; здесь же вырабатывается и приказчик — самый близкий и деятельный слуга русской торговли; в них со всех концов России свозятся дети бедных мещанских и упавших купеческих фамилий учиться торговому делу и иметь возможность жить впоследствии трудом… Вот мы и наталкиваемся на образ вырастания, на образ воспитания купца, на методу учения купеческого мальчика. Ставим им в параллель толпы нищих, ежедневно осаждающих амбары и лавки, лиц, большею частию не возбуждающих сострадания, а скорее противное — отвращение и за алым исключением играющих роль потехи для сытого купца в свободное время, — есть где поучиться Делать доброе дело. Несколько экземпляров отъявленных мерзавцев — выгнанных из службы чиновников, военных служак — часто удивляют своим нахальством и грубейшими выходками,

часто против общественно-уважаемых людей, нередко их затрагивающих, немалое число пропившихся, возбуждающих искреннее сожаление, пропавших от сумасбродной благотворительности и доводимых дразнением целой толпы едва ли не до припадков сумасшествия — невольно загрубляют деликатность молодого чувства, идя каждое утро к своим мучителям за куском хлеба, который покупают крайнею степенью унижения. Разврат, скрытый, спрятанный, но, кажется, еще более яркий от этого, имеет также в рядах свое место: от лавки к лавке шляются разные богомолки, святоши, иногда монахини, которые нередко бывают предметом самых грязных шуток, молодые девушки, часто почти дети четырнадцати лет, нередко прикрывают продажею пряников, конфект другое, более прибыльное ремесло, большею частию они и падают в соприкосновении с этим миром, многие выходят в люди, многие погибают в этой жизни. Пирожники, ветчинники, рыбники, разносчики всякой всячины, рабочие — надо отдать им справедливость — ведут себя много приличнее, в них живее чувство своего достоинства: нередко приходится слышать такие резкие ответы на обращаемые к ним торгующими шутки, что невольно покраснеешь от того, что они обращены к русскому купцу. Бабы-солдатки, ходящие большею частию с разными плодами, также замечательно огрызаются иногда нередко от целого ряда, над которым шум и гам, как говорится, стоном стоят.

Несчастная страсть подтрунивать, принимающая на свободе громадные размеры, переносится из рядов и в погреба и в трактиры и там вооружает против купечества половых, нередко даже и приказчиков, не говоря уже о мальчиках, на долю которых, на каждого и каждый день, придется пинков и щипков по десятку… Странно видеть все это в наше время, и особенно там, где, по-видимому, царит благочестие, где огромные образа в дорогих окладах, с теплящимися пред ними день и ночь лампадами и несколько раз в год повторяющимися молебнами, кажется, должны быть свидетельством о христианском направлении нравственности… Но обратимся к другим проявлениям городской жизни.

Биржа. Биржа везде — место общественное, предполагающее собрание купечества… В Москве биржа понятие очень обширное, и, как кажется, сколько ни стой она в таком виде и при подобном учреждении, она не привлечет большого сбора торгующих, и долго еще будет ограничиваться небольшой кучкой по большей части иностранцев, лепящейся на лестнице и в снег, и в дождь, и при жгучем красном солнышке… Биржа — не в русском характере

и еще более не в характере московского дела, а особенно при таком устройстве, как настоящее… Тут снова приходят на память английские клубы-биржи, но эти параллели требуют довольно подробных сведений, которые мы оставляем до другого времени… Здесь же скажем, что биржа в Москве гораздо обширнее, чем кажется: она собирается во многих местах, почти целый день не редеет толпа на тычке, который для торговцев средней руки, не имеющих права посещать биржу (за что должно быть вносимо каждым ежегодно семь руб. сер.), может почесться истинной биржей. Подрядчики и служащие транспортных контор, извозчики и вообще все занимающиеся извозом чернеют темной тучей на углу против Гостиного двора, а маклера, не имеющие на это формального права, незаконнорожденные, как их называют, помещаются на противоположном углу, рядом с Троицким трактиром. Смешанная куча промышленного люда толчется день-деньской против извозчичьей биржи, там и сям с деловыми людьми мешается особый класс промышленников, зовомых здесь жуликами, разные рядские ширялы, нищие обоих полов и разных видов — смешение весьма разнообразное и вполне демократическое… Не оттого ли пуста постоянно наша Биржа, что она слишком тесна, чтоб вместить всех имеющих до нее нужду, что она слишком аристократична и что не красна ни углами, ни пирогами. Попасть в нее торговцу средней руки трудно: сколько одних неотвеченных поклонов придется на его долю, да кроме того простой русский человек, каково большинство русского купечества, не привык и не любит делать дело всухомятку. В Московской бирже всякому довольно легко заметить немецкий дух и чиновнические формы; они-то, как нам кажется, более всего и виною, что у нас нет настоящей биржи, шумной, говорливой, удобно приноровленной к делу, снабженной всем необходимым… При Бирже состоит биржевой комитет, староста… Что они делают — это загадка:

Надо заметить при этом, что служба в комитете считается слжбою обществу!

Нам не раз случалось видеть и слышать, как частные люди обращались к тому или другому с справками, касающимися торговли, и уходили без всяких ответов! Курсы, несколько газет (ни одной иностранной) да разные устарелые объявления — это все общественное на Бирже… Мудрено ли после этого, что большинство торговых людей предпочитает Бирже трактиры и почти все дела и переговоры происходят в них. Трактир — истинная биржа для Москвы, следовательно, очень естественно перейти к ним; но прежде, нежели сделаем это, мы должны сказать, что было предположение (по всей вероятности, в духе

отопления Гостиного двора) устроить биржу на том самом месте, где теперь гауптвахта у Никольских ворот, следовательно, пред Красной площадью — место удобное и обширное: это отложено, по слухам, оттого, что, видите, ходить далеко!..

Трактиры. Опять приходится начинать тоном недовольства, досадно даже, потому что хотелось бы наконец найти хоть что-нибудь хорошее… Но судите сами. Самый лучший, бесспорно, Троицкий. Слова нет, кормят хорошо — стол чисто русский, но грязь, грязь и грязь, куда ни оглянись, и под столами, и на столах, воздух душный, спертый, всюду воняет маслом, кухней, жара, духота, теснота, толкотня, ворохи шуб, чинопочитание, по карману и честь, неотъемлемое на чай и страшные цены. Троицкий не для бедного человека, даже не для среднего состояния — в нем как-то ему по плечу разве чайку напиться — Троицкий для тузов, в нем рубля на три можно действительно хорошо пообедать, но нечего и соваться туда с полтинником, даже с рублем сереб. — это там сущая безделка… Не распространяясь много о более или менее всем известных неудобствах наших трактиров, приведем несколько фактов; они яснее всего покажут, насколько Троицкий удобнее других. В нем не бывало никогда и нет до сих пор общего стола, который более, нежели где-нибудь, необходим в Городе, где ежедневно несколько тысяч человек остаются с утра до вечера. Не подают полпорции ни одного горячего, и только три-четыре блюда из прочего с надбавкою против половинной цены, чрез что делается вынуждение взять целую порцию. Стакан кваса стоит 5 коп. сер. Цены на кушанье ставятся содержателем совершенно произвольно и достигают в большинстве блюд 75 коп. и 1 р., гораздо меньшее их число стоит 50 к. и еще меньшее 35. Карта почти круглый год не меняется и до крайности однообразна. Прислуга поставлена на разные ноги с посещающими. Смотря по состоянию и значению, общество дробится на несколько каст и рангов, и даже комнаты носят названия дворянской, армянской, немецкой и т. п. Порции не для всех одинаковы: лицам, занимающим верхние ступени городской службы, они подаются в больших размерах и особенные, простому человеку идут лежалые; тузам идет особая посуда, простому классу обитые тарелки и ломаные вилки; с богатых людей получают как прикажете, с бедняка тянут до последней копейки. Отделение, или Новотроицкий, может почесться аристократом: там страшно и спросить что-нибудь незначительное; под ним зато, в страшной грязи и духоте, как бы в противоположность предлагаемым удобствам привилегированного класса, питается и пьет теплую воду простой русский человек. Советуем заглянуть из любопытства в этот

уголок: он замечателен во многих отношениях. Кроме Троицкого в городе есть еще несколько трактиров: два на Певчей, один на Варварке и два на Никольской. Все они на один покрой, все на один тон с разными вариациями. Певческие разделены на мелкие каморки, или довольно тесные комнаты, в них жива еще большая часть принадлежностей, по которым исстари известны русские трактиры: большие хрустальные люстры, ломаные подсвечники, непроглядный табачный дым. Трудно становится понять даже привычку к этой грязи нашего купечества. На Варварке есть особое отделение для раскольников, которое просто, без всяких затей, и где не курят; оно невольно бросается и простотою и чистотою в глаза. Отсталый, по мнению многих, народ раскольники, и не думая не гадая равняются в отношении некурения в трактирах с европейскими трактирами, и, может быть, не без причины брезгуют Другими комнатами. Зато что за грязь, что за неурядица, что за вонь внизу Митягова! Ее трудно даже передать в нескольких словах — это скорее скотник, нежели жилые комнаты.

Было предположение основать коммерческий клуб в городе, именно рядом с Биржею, где несколько лет был также трактир. Иностранцы хотели потом перевести сюда казино: на чем все это остановилось, что препятствует этому — неизвестно. Кажется, трудно предположить, чтобы целое общество не настояло на своем, если б захотело. Клуб — необходимость для Города, он рано ли, поздно ли должен соединиться с Биржей: иначе нет средств прилично существовать человеку небогатому в Городе, как бы ни оправдывали трактиры своей дороговизны откупом и как бы ни смеялись над частым чаепитием купца. Откуп кончается, а чай для многих истинное спасение среди безалаберного быта городской жизни.

Подворья. Подворья не только [не] лучше, но многие из них хуже трактиров. Большая часть из них носит названия разных губерний и городов: Орловское, Воронежское, Суздальское и т. п. Подворьями довольно близко измерить, в некоторой степени, развитость и расположение к порядку и опрятности иногородних купцов. Можно себе представить, что это за приюты, если уж наши, даже из самых неприхотливых торговых людей называют их грязью. Попытаемся хоть сколько-нибудь очертить наши подворья, разделив их на три группы. К первой, лучшей, бесспорно, принадлежит Мурашевское. Тут собственно говоря, нет группы, потому что безукоризненно хорошее подворье в Городе одно. Оно в Зарядье и приятно поражает своею чистотою среди окружающей грязи и соседства такого приюта, как Глебовское, исключительно отведенное для евреев, место

недавнего убийства небогатого маклера-еврея помешанным господином. Мурашевское подворье может служить хорошим образцом для будущих русских подворий: оно безукоризненно чисто и хорошо расположено. Жильцы его — большею частию евреи. Ко второй группе принадлежит Чижовское и несколько подворий на Никольской и в соседстве. Это довольно сносные помещения с самым безалаберным хозяйством, мир толкотни, битой посуды, заспанных, вечно лохматых коридорных, мир привозных перин, шуб, тулупов, служащих одеялами, голых кроватей, тараканов и прочих домашних животных… Но тут еще сносно для привыкшего к такой жизни, загляните же в третью группу и вы против воли проникнитесь удивлением, что в них может жить человек, и еще достаточный человек. Это темные, жарко натопленные, пропитанные редко улегающимся дымом самоваров пещеры, или погреба (с тою только разницею, что жаркие), никогда не мытые, не очищаемые, с сором, копотью, вонью, без всякой вентиляции, закупоренные на всю зиму двойными рамами с оливковым стеклом, без звонков, с покосившимися лестницами, с уродливейшею мебелью; тут брань, зов коридорных, пьяная отвратительная прислуга, с освещением дымящегося ночника по коридорам, с трудно проходимым от грязи двором. В этой группе подворий воровство, пропажа — самое обыкновенное дело. Не говорим уже о пропаже вещей, которые трудно собрать в таком хаосе, нередки и денежные пропажи; случались и случаются и убийства — так, например, всем еще памятно убийство индийца на Воронежском подворье; немало случаев обкрадывания прислугой, ямщиками, не редкость, что на одном и том же подворье, где останавливается приезжий денежный человек, дают приют и известным коридорным мошенникам, беспаспортным, бродягам, тут и укрывательство краденого. Так, например, в недавнее время украденные у купца Берга сто пудов олова были найдены на одном из подворий в Юшковом переулке. Вообще третья группа наших подворий таит до сих пор много темного; в грязной, дымной сфере ее разыгралось и разыгрывается много неведомых миру драм чисто местного характера; более внимательный наблюдатель из преданий и рассказов о прошлом подворий может уловить истинно национальные черты, где под видом гостеприимства творились черные дела. Третья группа подворий лежит самым темным пятном на Городской части, от нее пойдут другие, тоже более или менее темные точки.

Площадь. Под этим именем разумеют место, или, скорее, ряд лавок от Владимирских ворот до Ильинских и от них вниз до Варварских. Площадь — бойкое место и хорошая школа для

русского торговца. Она может быть отнесена к более или менее темным точкам. Просим заметить наше выражение — точкам. Есть поверье, что на Площади и дело не чисто и слово площадной в речи русского купца звучит всегда как-то презрительно; ходят предания в области московского торгового мира, что многие из людей маленьких сделались большими, пройдясь Площадью. Эти поверья и преданья отмечают это место каким-то загадочным, Чарующим характером: это что-то вроде народной кузни, с тою только разницею, что в ней старое делают новым, а тут маленьких большими. Во рту полощи, а в рот не клади; на то и щука в море, чтоб карась не дремал. Эти поговорки, очень популярные в площадном мире, бросают уже более яркий свет на значение этого места, и пред нами уже более определенно выступают темные точки. На Площади есть свои аристократия и демократия: аристократия в лавках, демократия под открытым небом. Много оригинального, много народных черт можно заметить в этой темной куче народа, копошащегося здесь с раннего утра до поздней ночи. Эта бедная масса, эти отверженцы нашего, еще далеко не сложившегося общества, живут день за днем перепродажей старых вещей, чинкой их, женщины мытьем, штопаньем старых манишек, белья. Не кинем во всех их грязью — некоторые живут честно, несмотря на со всех сторон охвативший их разврат, но предоставляем судить, велико ли это «некоторые» и каково им? Преоригинальные понятия о чести, о собственности можно подслушать в этом мире. Вот хотя один пример.

Известно всем и каждому, что пропавшую вещь легче всего найти на Площади. По поводу этого нам пришлось натолкнуться на следующую сцену. По-видимому, дворовый человек, который внимательно осматривал многие вещи, кажется, натолкнулся на свою. Вероятно, уже практичный в этих случаях, он стал сейчас же торговаться и вместе с тем объявил, что это вещь его и что она у него недавно пропала. Продавец, несмотря на это замечание, совершенно равнодушно продолжал просить прежнюю цену.

— Экой, братец, ты какой, дать-то жаль больше: ведь вещь-то моя. Уступи, пожалуйста, всего недели две, как и украдено-то.

— И рад бы, друг, уступить, да не могу: себе дорого стоит…

Представьте отношения этого нового рода торговли и всю процедуру доказательства, что вещь действительно моя. Что дешевле — купить недорогую вещь или доказать?..

Это демократический пример; приведем еще, для большей характеристики Площади, аристократический. Он довольно ясно укажет на то, какими средствами из маленьких людей делаются большими.

Несколько лет тому назад пропала в Кремле маленькая

пушка; искали, искали… и… нашли ее на Площади у торговца медью и всякой металлической всячиной, и всего замечательнее, что торговец этот находился на службе — добросовестным в Городской части, и, вероятно, о пропаже знал прежде, чем купил пушку. Это рассказывают не за анекдот, а за настоящее дело, за факт!

Говоря в начале статьи, что Городская часть — особый мир, требующий долгого и подробного изучения, мы, представив эти легкие очерки, надеемся быть правы.

Нищие. Город издавна служит главным приютом всевозможных промышленников, слывущих у нас под общим именем «нищих». В Городе живет их огромная ватага, которая в недавнее время ютилась вместе с бродягами и мошенниками внизу и вверху того дома, в котором нашли и восстановили в приличном виде терем Михаила Федоровича. Теперь эта ватага рассыпалась по разным местам, и многие из них живут в доме Шипова, что на Лубянке. По слухам, городские нищие делятся на артели, каждая из них имеет своего старосту, большею частию грамотного солдата, который в то же время служит и адвокатом за дела своего братства и хлопочет как представитель его там, где следует… Особенное несчастие рядов составляют из этого класса отставные чиновники гражданского и военного ведомства: они кара Божия для многих из купечества. Зная иные секреты некоторых из них, они ругательски ругают каждого, кто отказывает им в подаянии. Часто подобные дикие выходки падают и на голову человека честного и достойного уважения, и они остаются по неразгаданным причинам без всякого последствия… Возьмут, отведут, а чрез день или два эта личность снова явится, и опять брань и крик, поносные слова и крайне неприличные выходки на весь ряд.

Московское купеческое общество немало участвовало с целию кормления и приюта людей бесприютных: на его счет существует Николаевская богадельня; в день коронации Государя Императора Александра Николаевича пожертвовано с этой целию 30 000 р. с; но нищая братия не уменьшается в рядах, и какой-нибудь выгнанный из службы чиновник, величающий себя благородием, может до сих пор, основываясь на балагурстве с ними рядских трутней и невежд, поносить публично честного человека, а честному человеку ничего не остается делать, как молчать, иначе свои же подымут на зубки… Это только одна из порч рядской нравственности…

Мостовые, очищение, извозчики и прочее. В заключение скажем несколько слов о мостовых. Немудрено всем и каждому понять, что нет никакой возможности быть в хорошем состоянии

нашей мостовой из булыжника, мощенной кое-как, пересыпанной щебнем и песком, там, где с утра до вечера не прекращается самое быстрое, самое тесное, деловое и нередко громоздкое движение. В состоянии ли выдержать наша московская мостовая, ходуном ходящая и под легкими дрожками, ежедневный прилив и отлив таких полных и сильных волн, как волны фабричной и промышленной жизни Москвы, из которых круглый год, не переставая, черпает себе воду почти целая Россия?.. Есть поэтому чему подивиться, что мостовая в Городе такая же, как и на прочих улицах Москвы. Касаясь этого факта, предоставим подумать нашей Думе, будет ли выгоднее сделать один раз навсегда прочную, плотную мостовую, нежели ежегодно тратить на поправку довольно значительные суммы, которые стекают в Москву-реку вместе с водою… Если даже она в настоящее время не непосредственно заведует этим или хотя и совсем не заведует, то все-таки недурно бы взять живую насущную потребность в свои руки и по крайней мере распорядиться. Благоразумный человек не откажется посодействовать этому делу, а то проезжайте хоть чрез Владимирские ворота, съезжайте и на Москворецкий мост — ведь это пытка и налегке, каково же с возом?.. (*В городе извозчики большею частию привилегированные: они платят за право постоять где-нибудь на угле, зато дороже берут-Чужого сейчас же гонят и в хвост и в гриву.)* Зимой, осенью и весной снега и грязь, без преувеличения, труднопроходимые, в этом нечего и уверять — известно это каждому москвичу. Ну, хотя бы не было средств очистить, так бы и быть — на бедность нечего пенять — напротив, на очистку улиц собирается довольно значительная сумма, в составлении ее участвует каждая лавка. Подрядчик Ефим Васильев несколько уже лет служит этому делу, и, может быть, потому все дурно идет, что он очень уже привык ко всем порядкам и знает все как по писаному. Странное дело, какими это судьбами один и тот же подряд остается за одним и тем же лицом, несмотря на совершенное равнодушие в исполнении принятой на себя им обязанности; ведь это, смеем сказать, рутина! В Городе на счет купечества содержится пожарная команда, на всех улицах есть колодцы, пожаров совсем не бывает, вода под рукой, снаряды, лошади, прислуга под боком, а летом глаз не продерешь от пыли… Неподвижность страшная, трубы ржавеют, солдаты бродят по разным местам… Часовой же, между прочим, всегда на месте. Форма по форме — как она везде-то въелась в нас.

РОГОЖСКАЯ ЧАСТЬ

Есть места и много улиц в Москве, которые как-то невольно заставляют призадуматься над формою, в какую сложились они под могучим влиянием общего хода прошлого, и над тем выражением, которое они приняли постепенно, незаметно даже для себя. Особенно поражает в них всякого, не жившего в этих местах и еще не свыкнувшегося с их жизнью, разнохарактерное разно. образце — не говорим, их внешности или обстановки, но более, так сказать, их внутренней жизни. Таких улиц по преимуществу много в больших городах, где большею частию слагалась жизнь того или другого народа или куда полною волною приливали исторические события. Характер обстановки носит на себе много следов той меры, как много или мало была задета данная местность этими волнами в общем их разлитии, даже и в не переносном смысле. В Петербурге, например, во многих местах, близких к Неве, еще до сих пор видны нарезы высоты воды наводнения 1824 года. Как в Париже и до сих пор, несмотря на деятельную перестройку, на каждом шагу многих улиц и площадей читаешь историю его прошлого, так точно и в Москве многие улицы, при всем их однообразии, резко выдвигают пред нами те или Другие формы многообразной русской жизни.

Берем, для примера, Рогожскую с примыкающей к ней Таганкой во всем ее широком просторе, вплоть До границы ее с другим бытом — до Рогожской заставы, как одну из самых характерных сторон Москвы. Рогожская вместе с Замоскворечьем носит на себе особенный характер, заставляющий иногда слагать и рассказывать о ней чудеса в обществе Тверской, Пречистенки и вообще в так называемом цивилизованном, действительно богато награждена многими чудесами принимая это слово в относительном смысле, эту мы желали бы поставить в параллель другой, с чтением, с занятиями ума, одним словом, с обстановкою, которая большею частию теперь лишь в воображении…

Кто-то с сердцем сказал при громких и общих криках о прогрессе: «Э, полноте, что такое говорите вы о нашем прогрессе — прогресс у нас только на некоторых улицах». В этих словах много желчи, но в них много и правды. Действительно, вдумчиво всматриваясь хотя бы в разные стороны Москвы, невольно приходишь к этому не совсем ободряющему заключению: прогресс у нас покуда еще на некоторых улицах и исторические перевороты неодинаково действуют на все пространство: есть много местечек и уголков, даже ~и в просвещенной Москве, куда

они достигают очень слабо. Одно из таких пространств, бесспорно, представляет Рогожская с ее сродственницами. Будем беспристрастны, разберем это само собой высказывающееся положение подробно, шаг за шагом, без всяких хвалений чего бы то ни было или голословных осуждений…

Исстари известно, что Москва — чисто русский город и что в нем борьба нового и старого выказывается ярче, нежели где-нибудь в ином месте. Деление города на две неравные половины, на заречную и содержащую в себе Кремль и главные улицы, выказывает это наглядно и, так сказать, осязательно. Характер жизни той и другой половины (разумеется, в общем, в массе, а не в исключениях той и другой стороны) разительно разнится и представляет много одна на другую не похожих особенностей; если вмешать сюда прогресс, то, кажется, никто и не будет спорить, что он в большей степени — в незаречной стороне.

Заречная сторона представляет, с одной стороны, какие-то странные, тупеющие и оседающиеся стороны московской жизни; с другой — упрямый, самостоятельный быт. Большинство живет, растет и строится там по призванию, по своей задушевной цели, иные живут по привычке, иные по неволе, многие там только и дома… Одна характеристика населения много уже намекает на самый быт. Заречная сторона — страна по преимуществу купеческая, хотя и мало промышленная. Среди этого господствующего там класса — менее— всего столбовых дворян, еще менее людей науки; немало мещанства и ремесленников, торговцев, трактирщиков и подрядчиков, множество ямщиков и людей, занимающихся извозом, не менее духовенства, мало докторов, много отживающего подьячества и людей чиновных, женившихся на купчихах, много людей, живущих милостями, ютятся также люди и вольных профессий. Значит, быт самостоятельный, феодальный, с приживальщиками, быт по форме своей почти средневековый…

Значительное пространство, начиная от Яузского моста, с одной стороны — к Таганке, с другой — к Рогожской: собственно Таганка с ее обширным рынком, потом две Алексеевские, Большая и Малая, собственно Рогожская с ее рынком, ввиду Андроньева монастыря, с Тележной, с одной стороны, с другой — со спуском к прилегающей Нижегородской железной дороге, кончающаяся чем-то вроде выселка с богатою Новоблагословенною церковью влево и с побочным переулком Дурным и местечком Воксалом, потом от Таганки Большими и Малыми Каменками вплоть до Спаса-Нова, — все это пространство составляет часть города с особенным оригинальным, исключительным характером.

Сейчас же у Яузского моста местность эта начинается развалинами с обеих сторон, с лепящимися рядом будкой и полуразвалившимися воротами, в которые можно любоваться чистотою и опрятностию внутренности двора и старыми, ветхими, грязными надворными строениями, промежду которыми как-то еще умудряются ютиться красильня и еще какие-то заведения. Будто на радость всем нам, поклонникам новизны, имеющим случай въезжать в этот мир первый раз, встречается здесь знаменательное предзнаменование, что все старое, даже и в Москве, рушится и близко к своему концу… Достойно завершив свой путь и переход от более цивилизованной стороны в страну заречную Яузским мостом и окружающими его прелестями, полюбовавшись на текущую краской лужу Яузу, наткнувшись на развалины и будку, въезжаешь в другой маловедомый мир, и каково должно оыть удивление новичка, когда вместо всего дряхлеющего, как в его воображении укладывается поначалу старый мир, он во всю длину Таганской и Рогожской, куда бы ни поехал, встречает большие, богатые, каменные палаты, широкие улицы, обширные площади с длинными рядами лавок, высоко возносящиеся церкви, особенно громадный их размер и богатство обстановки, и новое, для него непонятное, вдруг охватывающее затишье… Что же это такое? — спрашивает он, — это что-то странное, что-то особенное…

Это Таганка, это Рогожская, это место жительства зажиточных людей! — скажем мы ему в ответ и постараемся объяснить ту и другую местность; может быть _. они тоже недаром носят и женские имена…

Но прежде проследим далее: впечатление будет полнее. Вот богатая, широкая и длинная Большая Алексеевская — с громадным храмом Мартина Исповедника, — вот и Малая: они встречаются у Рогожского рынка, к которому примыкает Тележная с характерным бытом ямщиков; вот грань другого мира, других идей — Новоблагословенная с недальним от нее Рогожским кладбищем; вот нищета, прикрываемая богатством, лохмотья под богатой лисьей шубой, Дурной переулок и Воксал за Большой Алексеевской…

Знакомому с этими местами мы их напомнили, и если он впечатлителен, то, вероятно, пережил то же самое, что переживаем мы теперь; незнакомому мы постараемся раскрыть, что приходится переживать, как действует, что тревожит и что успокаивает тот оригинальный, в высшей степени самостоятельный и, что греха таить, туго поддающийся вводимой новизне мир, среди которого случайно привелось нам жить и каковы его отношения к средствам внесения света в окружающие

его сумерки.

Делаем при этом оговорку, что не имеем никаких претензий, даже отказываемся от за и против, отделяемся даже от всяких партий, избегаем на этот раз, по возможности, всяких взглядов и желаем по мере сил быть правдивым описателем того, как и в каких формах идет жизнь в этой отдельной стороне и насколько она намекает на жизнь губернского и уездного города. Представим только беглую ее характеристику, надеясь войти в более подробное исследование в статье «Замоскворечье».

Окруженный стаею собак, по пустынно-грязным, темным улицам добрался я в первый вечер к месту моего пребывания. На дворе был час 9-й в половине вечера, кругом все заперто, почти все окна домов глядели темно и мрачно под блеском стекол; светились только одно, два из них и то едва заметным, слабым светом лампады пред угловыми образами. Пока мне сбирались отворить, я еще пристальнее вгляделся в широкую, длинную улицу — ни души!.. Огромные» почти все каменные дома, тяжелые ворота на запоре, темные окна, широкая улица… вся обстановка большого столичного города и при этом мертвая тишь — действуют очень сильно, особенно в первый раз на не привыкшего к ним. Сравнение играет при этом самую важную роль; так, даже наш шумный Петербург кажется смиренным при въезде в него из-за границы; Москва уступает в движении Петербургу… но, спускаясь все ниже и ниже по ней, хотя бы от Ильинских ворот к Варварским и потом от них к Солянке, к Яузе и, наконец, достигая Рогожской, чувствуешь, будтˆ погружаешься все глубже в. воду… И когда за мной отворились и затворились ворота, невольно как-то подумалось: «Ну, теперь накрыла последняя волна, и я на дне реки…»

Меня встретили две собаки — одна цепная, другая вольная, — встретили и проводили громким лаем. Двор зарос травою, в стороне лежала налитая доверху помойная яма, посредине было вырыто что-то вроде погреба с низенькою над ним деревянною постройкою, окрашенною в дикую краску, в стороне стояли ветхие сараи, оштукатуренные, с деревянными затворами, выкрашенные также дикой краской. Мельком взглянув на все это, я вошел на крыльцо, на ступенях которого стояла лужами вода, взошел в комнаты и уже вполне почувствовал, что я среди нового, мне мало ведомого мира. Первое, что бросилось в глаза, — это лежанка из больших, старинных, с синими каемками изразцов, потом пустые желтые стены, затянутые по углам паутиною, потом старинные образа и рукописные молитвы, потом узкие окна со ставнями, с соломенными плетенками между рам, чтобы не проникал сквозь них взор проходящих. Замкнутость и

обстановка старого упорного быта были во всех своих атрибутах пред глазами; они сказывались во всем: в мелких комнатах, похожих на клетушки, в разных потаенных шкапиках для разного снадобья, в широких, чисто строганных и вымытых по старинному обычаю с белой глиной полах, закапанных во многих местах воском, пролитым, вероятно, с жарко горевших свечей при панихидах по покойнике, недавно оставившем этот дом, — во всем, даже в изгибе печки, приноровленной для того, чтобы около нее погреть спину и нажить этим ревматизм.

Отворивший мне человек смотрел как-то грустно, будто и ему от всего окружающего приходилось жутко…

— Что делать, брат, на время, — сказал будто угадавши его мысль, — ненадолго…

Я вошел наконец в другие комнаты, в которых, по назначению судьбы, а ближе всего, по моему собственному согласию, мне привелось провести около двух месяцев; те же голые, желтые стены, те же узенькие окна и чрез них та же пустая, глухая улица. Сильнее всего подействовали на меня некоторые встреченные мною среди этой обстановки вещи, вывезенные из-за границы, особенно книги, каждая из которых невольно напомнила мне тот или другой край, тот или другой город Европы…

Они как будто улыбнулись мне среди этой мрачной обстановки. Но по этим строкам вы меня можете принять за человека, бредящего заграничным житьем, — избави меня Бог! Я с большим удовольствием буду жить в самой глуши, в селе, в деревне, живал не раз в простой крестьянской избе, и всякий сознается, что жизнь среди сельского быта и его обстановки действует несравненно лучше, нежели этот странно и уродливо слагающийся городской быт богатых зажиточных чиновников, купцов, мещан, подрядчиков и ремесленников, стоящих, по большей части, хотя в близких, но угнетающих отношениях к народу…

Не нахожу более нужным распространяться об обстановке места, она уже понятна; проследим, как идет здесь жизнь день за днем, и обратим свое внимание на обстановку быта, на, так сказать, общественные учреждения. Мне прежде всего пришлось увидать их. Самым общественным мне показались: трактир, кабак, полпивная лавочка, мелочная лавочка, булочная, цирюльня. Трактиров попадалось во множестве, особенно на обширных Рогожском и Таганском рынках; кабаков не менее трактиров; мелочные или овощные лавки занимают третье место, и многие из них смотрят большими лавками, при некоторых и винные погребки; цирюльни немногочисленны и крайне грязны,

за исключением одной-двух, не более; булочные, содержимые немцами, являются самыми цивилизованными местами…

Из общественных мест, которых значение я не нахожу нужным раскрывать в его полном смысле, остается еще одно — это бани. Странно как-то действует на вас, когда, оглядываясь кругом на таком значитель^ ном пространстве, не встречаешь ни театра, ни одной

книжной лавки, ни библиотеки, ни кондитерской с газетами, как это уже довольно повсеместно развилось, не говоря про европейские города, даже в Петербурге, наконец, ни одного журнала и очень редки «Московские ведомости» во многочисленных трактирах.

Невольно является вопрос, хорошо ли это делается, что все у нас сосредоточивается как-то в одном месте, тяготеет к одному центру, собирается в кучу, оставляя огромные пространства совершенно в стороне и делая, таким образом, из одного города, хотя бы из Москвы, два или несколько не похожих один на другой городов, и не мешает ли это развитию и чтения, и просвещения вообще?

В недавнее время много говорили о народном театре. «Русский мир» сделал даже публичный вызов о составлении драматического общества в Петербурге и Москве. Господин Баженов поместил свои соображения по этому поводу в «Московских ведомостях». Говоря о Рогожской части, мы решаемся также коснуться этого предмета. Пробежавши легкий очерк современного состояния этой части первопрестольного града Москвы, всякий легко уверится, что оно далеко не удовлетворительно и может быть безобидно сравнено с застоявшимся огромным болотом по своей неподвижности. Что в этом болоте много жизни, что, может быть, из него подымется крепкий могучий лес, — это дело другого рода; но можно безошибочно согласиться, что оно, как болото, требует обработки, чтобы из него вышло что-нибудь путное: ведь немало русских торфяников совершенно сгнило от того, что их оставили долгое время в неподвижном состоянии…

Театр в Рогожской был бы немалым спасением для Дряхлеющего, восточно-неподвижного быта.

Для многих читателей будет, вероятно, небезынтересною новостью, что в Рогожской уже был театр… Старожилы помнят даже место его и то, что на нем разыгрывались «разговорные» пьесы; театром, собственно, он не назывался, вероятно, потому, что многие места русских увеселений и до сих пор носят немецкие названия — это был воксал, давший До сих пор сохранившееся название местечку Воксалу, если припомнят

читатели, находящемуся сейчас же за Большою Алексеевскою улицею, в соседстве с Дурным, прежде по своему безобразию называвшимся Чертовым, переулком. В этом воксале, по рассказам старожилов, разыгрывались разные русские пьесы русскими актерами; антрепренером всего предприятия был иностранец_ Медокс, употребивший почти все свое состояние на' замысловатые часы, известные теперь под названием Лухмановских… Нам пришлось слышать только об этом театре; ни о составе труппы, ни о ценах на места ничего не известно, даже положительно верно мы не знаем времени его существования; говорят, что это было в первых годах текущего столетия и продолжалось довольно долго… Человек, бывший еще зрителем этого театра и заслуживающий полного доверия, сообщил нам, что здание-это нисколько не было похоже на то, что у нас в настоящее время называется воксалом, хотя бы, например, на полуразрушенное здание в Петровском парке; оно даже не было цирком, в нем не было ни конного ристалища, ни канатных плясунов, а это был театр в полном и собственном значении слова. Не пошли ли мы в этом отношении назад? В первых годах нынешнего столетия в Москве и частные содержатели театров, и ряд пьес, понятных для народа, многие из которых легко могли утратиться, ныне — скучение театров в одном месте, Малый театр для драматического искусства в Москве, господствование на сцене репертуара переводных пьес и лишь только изредка живые картины народного быта…

Театр в Рогожской необходим: она еще более заснет и будет постепенно умирать в окружающем со всех сторон, обхватившем ее мертвом, неподвижном быте, в мире трактиров, харчевен и бань, в которых и высокопоэтическая русская песня получает грязный развратный характер. Не спасут ее ни раскольничьи переносные палатки, служащие церквами, ни тайные попы и архиереи. Искупителем из сосредоточенного, замкнутого, разлагающегося быта может явиться только искусство, оно только, живое, может вызвать жизнь в живом, молодом, но стареющем прежде времени теле. Азиатская обстановка, фанатизм, напоминающий восток, царствующий там много лет, оказались въявь несостоятельными: они при помощи господствующего жома и системы обираний, известных у нас под разными благовидными именами, вывели многих из народа в купцы и вооружили против многих из них прежних собратьев. Богатства, загребенные в одни руки, только задерживали развитие промышленности, и торговли, и образования; кованые железные сундуки с высившимися над ними толстостенными домами развили только монополию и вылили дюжину золотых

истуканов, от которых нам ни тепло, ни холодно. Азиатская обстановка должна смениться европейской — для нее теперь самое удобное время — и ближе и легче всего она должна начаться театром, театром не в том виде, который мы имеем теперь, — скорее, в большинстве этих пьес, портящем вкус даже и развитого человека, чем развивающем его, — а театром народным, с понятными народу речами, с русской обстановкой, с русской песнью, с русским юмором, нещадно выставляющим на смех народный множество несродных и не идущих к ним затей, которые от так называемого образованного класса мало-помалу прививаются и к окружающему его простому человеку… Не благородные спектакли должно устраивать вновь образующееся драматическое общество, а спектакли понятные и равно интересные для всех, пусть только родной быт будет верно схвачен и верно передан. Нечего, разумеется, ограничиваться одними народными пьесами: пьесы и из другого быта, пьесы наших немногих драматических писателей, все или большая часть, будут доступны народу. Из его быта мы возьмем себе знание, из нашего возьмет он, и никто не будет в проигрыше. Это не то, что кучи переведенных водевилей. Театр в Рогожской перемешает всю Москву: многие, кто никогда не заглядывал в нее, поедут тогда туда; они внесут в нее свой воздух и унесут из нее несколько полезных впечатлений. Чрез это опять никто не будет в проигрыше, потому что среди коснеющего быта там проглядывают многие истинно народные черты, особенно среди раскольников; около театра сгруппируется и многое другое, которое оживит неподвижность, и кофейная, и кондитерская не будут лишними. Там с ними вместе проглянет и книга и газета. Нужды нет, что все это получит свой особый оттенок, соединение двух, хотя не похожих друг на друга сторон, не поведет к худому: в известной, чисто русской калашне Филиппова пекут же отличные французские сухари и немецкие крендели.

Чрез соединение, сообщение только и может быть достигнута общая цель. Передав несколько слов о состоянии Рогожской части, мы только посильно указываем выход из ее положения. Она богата сравнительно с другими материально, бедна морально; соединив свои интересы с общими, примкнув к общему движению, сблизив свои формы с более цивилизованными частями Москвы, она оживит свою мертвенность.

Прочие формы жизни этой части читатель увидит в Замоскворечье.

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

Рогожская часть была только, так сказать, пропилеями к Замоскворечью; мы преднамеренно не сказали почти ничего о формах ее жизни и коснулись их слегка для того, чтобы только ознакомить с тоном этой, во многом сходной, жизни… Увертюра, таким образом, сыграна, теперь мы постараемся поднять занавес на столько, сколько будет в силах…

Замоскворечье заключает в себе три части: Пятницкую, Якиманскую и Серпуховскую — эти части одного поля ягода, и потому мы их берем под одним общим названием. Замоскворечье в большинстве своего пространства населено купцами и мещанами, менее чиновниками и ремесленниками… Характер, обстановка местности во многом сходны с Рогожской частью: и здесь, как там, огромнейшее количество церквей, замечательная величина их размеров, богатство и художественное безвкусие, и здесь, как там, — ни одной библиотеки, ни клуба, ни театра, ни одного сколько-нибудь достигающего цели учебного заведения. Преимущество Замоскворечья пред Рогожской частью — немалое число юродивых, блаженных, странных, кликуш и приживалок, старух-сплетниц, старух-вестовщиц… В Рогожской православие борется с расколом, оно с ним каждый день на поединке; быт там смешанный, и его застой тревожится энергическою фигурой раскольника. В Замоскворечье же православие не тревожится не только расколом, но даже и вольными мыслями, бежит, в большинстве своем, рассуждений и крепко держится своего старого… Еще, по исчислению И. М. Снегирева, там считалось сорок чем-либо примечательных церквей… За Замоскворечьем, между полыми местами, говорит он там же, находились также слободы стрелецкие: Колычевская и Ремесленная, Кадашевская, где делалась белая царская казна или полотенное дело на Хамовном дворе.

По поводу Замоскворечья нельзя не вспомнить превосходных стихов Лермонтова из песни про купца Калашникова.

Над Москвой великой, златоглавою, Над стеной кремлевской белокаменной Из-за дальних лесов, из-за синих гор, По тесовым кровелькам играючи, Тучки серые разгоняючи, Заря алая подымается; Разметала кудри золотистые, Умывается снегами рассыпчатыми, Как красавица, глядя в зеркальце, В небо чистое смотрит, улыбается.

Как сходилися, собиралися Удалые бойцы московские На Москву-реку, на кулачный бой, Разгуляться для праздника, потешиться.

Ничто так, ни самые точные исследования о былом Замоскворечье, ни кипы комментариев на эти исследования не бросают на него столько света, как эти стихи и быт купца Калашникова, живо и осязательно воспроизведенный Лермонтовым.

Где ж этот старый быт, где сила и ширина и свое-бытность жизни, навеваемые песнею?..

Откуда бы вы ни въезжали в Замоскворечье — чрез Москворецкий ли мост, чрез новый ли Каменный, который невольно и резко напоминает вам стоявшего много лет величавого старика, достойного, кажется, лучшей участи, чем какая постигла его, — отовсюду пахнёт на вас особенностию, своеобычностию замоскворецкой жизни, — вы невольно начнете прислушиваться к биению ее и найдете в ней и много похожего на рогожскую жизнь и много своего, отличного, от нее… За Москворецким мостом невольно поразит вас? Суетня и движение Балчуга вы, пожалуй, вспомните тут чистилище Дантова ада и сейчас же за этим улыбнетесь такому сравнению. Действительно, эта небольшая улица с тянущимися по обеим сторонам лавками находится будто в переходном состоянии: тут еще город не хочет уступить своей шумной деятельности мертвящему застою Замоскворечья, и эти два врага ежедневно встречаются на этом пространстве. Пятницкая уже носит на себе много следов жизни более цивилизованной части Москвы, зато вправо и влево начнет, как говорит Гоголь, писать губерния… При переезде чрез Каменный мост представляются уже другие, более близкие к замоскворецкому быту формы; тут мы хотя и встречаем разные промышленные предприятия, но уже не в форме открытой торговли: это известный по своему разврату трактир «Волчья долина», винный двор, множество бань, которые обставлены несколькими ремесленными заведениями, и в стороне — Болото. Болото не природное, которое манит к себе поэзиею охоты, а Болото — место торговое, место подвигов по нашей мучной торговле… От Пятницкой пойдут Кузнецкая, Татарская, Лужники, Кожевники, в стороне Садовники. От Каменного моста, чрез Малый Каменный мост потянутся большая Козьмодемьяновская, Полянка, Якиманка; вправо целою толпою переплетутся множество переулков; все это встретится между собою у Калужских ворот, Зацепою соединится с Серпуховской и с одной стороны потянется значительными полупустыми пространствами к Серпуховской, а с другой — к Калужской заставам… Взглядимся же попристальнее в эту самобытную, мало похожую на общую жизнь прочих частей Москвы-матушки, стоящих хотя и в связи, но как будто отдельно, сообщающихся каждый день с прочим

народонаселением ее, но держащихся как-то в стороне…

Бранить или осмеивать образ жизни этой части города так же странно и бесцельно, как и безусловно все хвалить в нем; в последнем отношении хорошим поучительным примером может служить странная книжонка, напечатанная в Москве в 1859 г.: «Замоскворечье, или вот как живет русское купечество XIX века», книжонка, написанная прозой и стихами, которую можем рекомендовать, как вещь очень курьезную. Нам хотелось бы быть правдивыми описателями того, что пришлось здесь видеть и пережить. Прежде всего обращаемся к семейному быту и к характеру отдельных личностей, дающих этой жизни тон и освещающих многое кругом. Купец — истый законодатель этого мира и сидит в нем крепко, как говорится, на четырех сваях и в пятую упирается. Достигнуть почета он старается всеми силами и средствами. В жизни., идущей издавна по одной затверженной колее, в быту, где нет ни общества в полном значении, ни разумно выработанных отношений, церковь является одним из главных мест, где сильный человек может повеличаться во всей своей красе пред миром… Мы берем на выдержку несколько личностей, которые особенного рода подвигами составили себе имя, перешедшее даже и в незаречную сторону… Удивляться ли при этом, что в нашем купечестве есть еще люди, которые считают подвигом задавание разных сложных, трудно перевариваемых обедов, с дорогою стерляжьею ухою, с трехаршинными осетрами, обедов, нередко кончающихся попойками и поездкой в Грузины, обедов, на которых объедаются и опиваются нужные люди. Так, еще в недавнее время один из князей замоскворецкого мира, великолепно разукрасив храм, задал по этому поводу пир горою и в это же, самое время'отказал в помощи брату, который и был объявлен несостоятельным должником. Как совместить все это — с одной стороны, жертва Богу от трудов своих, с другой, черствое сердце, равнодушное к нужде брата, брата не по одному названию?.. Громоносно звучат при таких случаях слова Христа: «Милости хощу, а не жертвы». Но видно, затянуло жиром уши замоскворецких православных, и чутки они только к колокольному звону… Псевдорелигиозность, выдаваемая за набожность и бо-гопочитание, чем старое поколение тычет в глаза молодому, так сильно развита в Замоскворечье, что там во многих богатых домах есть даже особые комнаты для приема монахов, которые и называются: комната для отца такого-то, матери — имярек… Там здравствует и до сих пор один святоша, купец-фабрикант, который превзошел в своем ханжестве, кажется, всех женщин и по справедливости может быть выбран главою московского полка святош и всяких о

Христе лицемеров. Дом его постоянно наполнен разными пройдохами и богомольцами, по заказу, за известную цену поминающими о здравии и о упокоении, разными монастырскими выходцами, ютящимися почти круглый год около большей части нашего купечества, забывающего среди толков и сплетней этих проходимцев все подвиги и дела гражданские и общечеловеческие, обирающего, по большей части по извращенным своим понятиям, человека бедного и беспомощного, народ и работника, и несущего в то же время свои тяжелые жертвы — будто на подкуп вьющего правосудия. Господин, о котором мы говорим, и с виду представляет тип московской святоши: лицо его — что-то среднее между мужским и женским; на толстых щеках глупейшее величание собственным достоинством; в ушах у него святая вата, а в холерное время он был увешан с головы до ног разными писаными молитвами, отгоняющими, по его мнению, болезнь… Нигде и ни в каком вероисповедании нельзя, кажется, встретить подобного типа; его нет и следа между раскольниками, при всей их падкости к слову на вере… Дело, разумеется, не в этой отдельной личности, а в том, что у него своя партия и что многое из Замоскворечья и даже не из Замоскворечья проникнуто его духом и правилами, худо то, что он для многих — авторитет… Религиозность употребляется там как средство и другим образом: так, например, многим известны проделки одного из жительствующих там купцов, который, имея пятерых сыновей и желая посредством каждого из них сделать коммерческий оборот — т. е. женить наивыгоднейшим образом, поставил так свое дело: он нашел праздношатающегося] блаженного, который был уже некоторым образом известен в том мире и уже застращал многих своими никому не понятными и не имеющими смысла речами, — выстроил для него в саду келью и стал сам и через знакомых распускать о его прозрении и блаженстве самые невероятные слухи… И пошла таким образом слава о купце, что он и то, и другое, и третье, стали и на него смотреть, как на человека необыкновенного, и на дом его, как на осененный особенною благодатию Божиею, так как живет в нем блаженный… И достиг своей цели смышленый стар-человек; сыновья у него все превыгодно женаты *. Сила тяготеет к силе — так и Замоскворечье издавна было, так сказать, темною и мало кому знакомою кузнею для выковки московских капиталов, а с другой стороны, Замоскворечье — будто рассадник капиталов и умножающегося потомства русского купечества: капиталы росли и умножались по большей части именно в этой самобытной и оригинальной стороне… И как все шло тут своеобразно, как

оригинально! Глядишь: стоял где-нибудь в стороне деревянный, дикенький домик, долго стоял; жил в нем невзрачный седенький старичок, смирный, скромный, богобоязливый; почитал этот старичок после Бога — власть, поставленную от Бога: стоял в почтительном расстоянии пред благородною полициею, боялся бар; ходил, хлопотал, застегивался, обдергивался, семейство и детей держал в сером теле и в страхе Божием; а время шло да шло, обозы на скрипучих русских телегах, управляемые возчиками в дырявых нагольных полушубках, то въезжали на его широкий двор, то выезжали с этого двора… Все было скромно, народно: небольшой садик с беседкою, где отдыхал летом старик, большая цепная собака на дворе, канат для нее перед сараями, кучер, дворник, живший на короткой ноге с хозяином, куры и — разве много, если корова останавливалась вечером, летнею порой, пред его воротами… Но умирал старик, выносили его в дубовой колоде, ногами в ворота, — и вдруг оказывался значительный капитал, а потом на месте дикого деревянного домика вырастал неуклюжий громадный дом или же самый этот домик разукрашивался затейливыми белендрясами… Вот в немногих словах одна сторона истории Замоскворечья. Встарь Замоскворечье было большое промышленное село, лежащее на кормилице-матушке Москве-реке — под стенами Кремля, село, к которому тяготели все села великой России и где зажиточным хлопотуном-мужичком был московский купец. Мужичок этот вел широкое дело, знал нужду каждого села, имел в нем связи, роднился с разными промышленниками других сел и был для них купцом и краснорядцем. Народонаселение постепенно прибавлялось, росло и распадалось на многие купеческие фамилии, занявшие теперь другие места, как, например, в фабричной Лефортовской части и пр. и во многих окрестных промышленных селах… Другая сторона Замоскворечья носит уже иные черты, которые особенно отразились в известном Кириллушке, проживавшем недавно на Зацепе: котлы с растопленной монетой, склады разной фальши, прославленные фабричные приемы, гнет и жом, который заставлял здесь крестьянина пропивать последние свои достатки, наконец, все ухищрения нашего промышленного быта, тут действовали идеи «своих людей», или факты, вроде наделавшего шуму, хотя еще не совсем выясненного серебряного дела. Это — темный, застенный, таящийся от света Божия период; он уже начинает терять свое значение и сильнейшею своею частию перешел в современный — третий, который, с одной стороны, может быть, под упреками совести несет избыток своего состояния на благотворение, еще мало ладящее с современными потребностями, — вообще на все

то, чем сильный и от природы неглупый, но спутавшийся, сбившийся с прямой дороги человек хочет оставить на земле след своего существования и уготовить блаженство и покой в будущей жизни. Примеров этому немало, но самый разительный и общеизвестный, кроме вышеприведенного, — построение одним лицом, бывшим суконным фабрикантом на свой счет целого монастыря, стоившего ему около миллиона руб. сер., между тем как множество семейств, разоренных этим фабрикантом, и до сих пор живут самою недостаточною, самою бедственною жиз-нию. Многие вариации на некрасовскую тему и «Секрет» также играют довольно значительную роль в этом периоде… Но, кажется, уже недалеко время, когда и он кончится. Многое из темного, из доброго старого рушится под благотворным современным направлением, свет довольно смело и решительно начинает уже пробираться и в Замоскворечье, и там есть немало домов и еще более отдельных личностей, которые и в Замоскворечье уже не принадлежат ему ни по образу своей жизни, ни по воззрению на жизнь, ни по убеждениям. «Не принося треб современным литературным кумирам, — говорит М. де Пуле, — мы и Гоголя не ставим на пьедестал; будучи горячими почитателями этого могучего таланта, мы нисколько не думаем, что наша литература опочила или должна опочить на его деятельности. Она идет и должна идти путем прогресса по данному им направлению; новых слов не нужно; нужно всестороннее изучение нашей раздробленной, разносторонней и мало знакомой нам жизни, нужны таланты, которыми никогда не оскудевала русская земля; нужен свет, простор и воздух — и только, а направление, художественные приемы, своеобразность и своеобычность сами собою явятся».

«Мы сказали, что со времен Гоголя все изучаем нашу разнообразную жизнь, — и конца не предвидится этому изучению, и не предвидится по историческим, разбившим нас на особые мирки причинам, из которых только будущее отдаленное время в состоянии создать всецелую русскую народность, а мы, впрочем, в понятном увлечении настойчиво требуем от литературы этого создания! Да! Мы привыкли всего требовать от литературы, забывая, что многие из наших требований вовсе не ее дело. Итак, литературная разработка наших мирков решительно необходима, что бы ни говорили о разделении работ, об отмежеванных полянах, хотя к числу говорящих принадлежим и мы, но мы вооружались против педантизма в подобном труде, против узости литературного кругозора, против бедности запаса фактических данных, мы никогда не вооружались и не вооружаемся против глубокого и всестороннего знания того или

другого мирка. Необходимо, стало быть, и литературное знакомство с миром купеческим». Вот основания, по которым каждому желающему сказать правду следует копаться в изучаемом мирке и пристально вглядываться во все, попадающее под руку среди окружающей тьмы, хотя бы и поднялось на него все, уколонное этой правдой. Много, разумеется, и светлого в Замоскворечье, но в большей части своей оно и до сих пор представляет любопытные, темные, извращенные и курьезные стороны жизни. Это — мир поверий, примет и веры в сверхъестественное и чудесное, мир порч, запоев, заклинаний, заговариваний. К этому младенческому воззрению на природу, в котором пробивается немало народной поэзии, много примешано самых извращенных и испорченных городом поверий. В этом мире все имеет значение: и завыванье ветра в трубе, и растопка печи, и состояние истопленной печи, кипение воды, всход в горшке каши, шум самовара, чесанье бровей, переносицы, кончика носа, правой и левой ладони, карканье ворона, залет в комнату воробья и т. д. и т. п. Тут нашли свои права и значенье: понедельнича-нье, четверговая соль, умыванье с уголька, вспрыскива-нье с разных предметов, стращанье порчей, которая имеет большое влияние на семейную жизнь и нередко ставит мужа и жену в странное, неестественное положе-ие. Посты имеют в Замоскворечье обширное значение и вызвали множество оригинальных блюд, для довольно подробного реестра которых мы пользуемся выпискою из одной меткой статьи, помещенной в одном журнале: «Приняв постную молитву и опохмелившись, Замоскворечье переходит к обеденному столу, на приготовление которого сосредоточиваются теперь (постом) все мысли и заботы женского пола. В течение всей (первой Великого поста) недели стол готовится без масла, а у некоторых, более благочестивых, даже и без горячего. Но эти условия не стесняют однако же нашего купечества. Мы довольно часто бывали на великопостных трапезах и не могли достаточно надивиться изобретательности человеческого ума. Господи! чего, чего только нет на этих трапезах! Тут и тертая редька, и тертый горох, и кочанная капуста, и грузди, и рыжики, и белые грибы, и серые грибы, и печеный картофель, и вареный картофель, и винегрет из грибов, и гренки из грибов, и грибная икра, и ботвинья с груздями, и каша с маковым молоком, и пшено, разваренное с медом, и клюковный кисель, и сладкие похлебки с черносливом, малиной и изюмом, и моченые яблоки, и груши, и брусника, и ворохи калачей, саек, ватрушек и папушников; и все это поедается, да еще как поедается! Не приведи Господи и видеть, а не только самому съедать по столько! Во всем, перечтенном нами, масла, как

видите, не слышно и духу; но бывают случаи, когда и купцы делают уступку. Вот, например, был такой случай. Пришлись именины одного купца, и пришлись на грех на вторник первой недели; как быть, что делать? — ни вина, ни масла не дозволяется — а без того и другого что за именины. Не знаем, было ли вино на этих именинах, но нам достоверно известно, что на другой день этот постник подал на одного из своих должников вексель ко взысканию, да еще с кормовыми. Вот и толкуй с такими господами! Он считает грехом на первой неделе напиться чаю с сахаром, а не с медом, а упрятать своего брата в яму ему нипочем и в чистый понедельник.

С субботы разрешается на масло и горячее; тут идут новые приготовления, количество поедаемого увеличивается и число блюд доходит нередко до тридцати. Так проходит время в течение первых трех недель Великого поста. Купцы сидят в лавках, купчихи дома: первые надувают, последние сплетничают.

С четвертой недели начинается перелом, но только не для купцов, а для купчих; после долгого сиденья они начинают сновать по Кузнецкому мосту, Гостиному ряду и Ильинке. Дело в том, что уже остается немного времени до Вербной субботы — дня, весьма многозначительного в жизни купеческих сынков и дочерей: надобно приготовить наряды, чтобы не стыдно было явиться на смотр. Смотр этот бывает на Красной площади, куда стекаются все жертвы, обреченные на брачную жизнь. Накануне Вербной субботы по всему Замоскворечью идет страшная кутерьма, приготовлениям и примериваниям нет конца; женский пол почти не спит в эту ночь, все наполнено завтрашним днем, все ожидает его с замиранием сердца. Не спится в эту ночь и купеческим сынкам. Стоящим на очереди наступает время скоротать свою волюшку. Не один отец призовет с вечера к себе детище и поведет с ним такую речь: «Оденься завтра в хорошую шубу да ступай пораньше из лавки-то, чтобы не опоздать на гулянье: будет Дарья Ивановна кататься с дочками — посмотри… да чтобы понравилась! Будет тебе шалопаить-то».

И вот эти-то кандидаты на брачную жизнь, когда стемнеет и смотр кончится, собираются в каком-нибудь трактире совершать поминки по своей холостецкой жизни. Нам не раз случалось наблюдать за ними в эти минуты; много горечи слышалось подчас в беседе молодежи, много жалоб изливалось на родительскую волю, много сетований на свою горькую участь: «Да делать, вишь, нечего, из тятенькиной воли не выйдешь, да и маменьку не упросишь — внучат, вишь, ей больно захотелось». Порешивши на этом, начинают запивать свое горе винцом, и задушевная беседа скоро переходит в безобразную оргию. Уже на рассвете

купеческие сынки отправляются по домам; другой раз они побоялись бы родительской воли, но на эту ночь им дается полная свобода. Тятенька поутру лишь спросит: «Видел ли?» — «Видел, тятенька». — «Ну, что?» — «Да порешимся». — «Ладно, таки нонче попой — выйдешь в город — соседей-то чайком, а то станут спрашивать, так, неравно, не наговорили бы; да вели мальчишкам, чтобы не больно от соседей-то откликали; да что надо из одежи, так сшей». И шьет себе малый одежду, и ждет Красной горки, когда будет пировать с молодой женой.

Проходит Вербная суббота, наступит седьмая неделя, опять прежняя церемония: мытье полов, чистка посуды, хождение в баню, похмелье и обеды в пятнадцать блюд без масла и горячего. Купчихи опять сидят дома и приготовляются к празднику. У купцов же дела по горло: на последней неделе в Гостином дворе с утра до вечера слышится перебранка — это купцы производят расчеты: хозяева ругают мальчиков, что много наели у хлебников, а хлебников ругают, что много приписали, что «мальчик умный и столько не съест»; пирожники, сапожники, портные бранятся с приказчиками, и все это заканчивается бранью самих хозяев между собою. Так начинает проводить и оканчивает Великий пост наше купечество.

Пост выдерживается, как видно, не в количестве поедаемого, а в том, чтобы в нем не было ничего скоромного, и мы не раз были удивлены, смотря на трудно воображаемое количество съедаемого, по два, по три хлёбова, за одним столом на разные соусы, каши и жареное, особенно в праздники… Пост сообщает Замоскворечью особенный запах, особенно в Петровки летом: оно все пропитывается зловонием постного масла, луку и разных припеков. На рынках вонь страшная; непривычному человеку она туманит голову и мгновенно вызывает тошноту; рыбные, зеленные лавки прибавляют своего запаха; бочки дешевых русских селедок, полувысохших на 30-градусном жару — хоть бы, например, нынешнего лета, — производят трудноутоляемую жажду; квасу употребляется громадное количество, и это потребление уже давно вызвало оригинальную промышленность — варение кваса, чем только одним и занимаются несколько лиц.

Представьте себе при этом любимую привычку этого населения спать на мягких перинах, почти не открывать окон и одеваться на ночь потеплее, прибавьте еще соседство натопленной русской печи, особенно летом, и вы поймете, почему в здоровом русском племени, при здоровом климате Москвы разыгрываются целые сотни разных неизлечимых простуд, почему скоро стареют московские женщины, эти девушки-пышки, почему здоровый розовый цвет их лица скоро переходит в матово-

изжелта-бледный, отчего эта дряблость, вялость, недеятельность, напоминающие Восток, и отчего смертность, особенно при появлении какой-нибудь эпидемической болезни, значительна за Москвой-рекой.

Только сады и значительные пространства еще от многого спасают наше Замоскворечье. Театр бы, да побольше дельного чтения, и дело бы уладилось.

Кстати, при речи о состоянии здоровья коснемся замоскворецких больниц. Их там четыре: Петропавловская, Голицынская, Городская и Горихвостовская для неизлечимых больных… Мы не имеем ни места, ни времени, ни даже подробных сведений, чтобы войти в отчетливый разбор московского больничного быта, которым бы пора заняться по примеру г. Троицкого, так хорошо очертившего его в Петербурге *; мы скажем только покуда об общих чертах быта этих больниц — говорим, покуда, потому что имеем надежду в скором времени представить довольно подробный очерк современного состояния одной из них, много похожей на все прочие… С виду каждая из больниц — большое, чистое, разумеется, каменное здание, с садами и с значительным пространством принадлежащей ему земли; такова особенно Петропавловская. По общим отзывам, в способах лечения во всех больницах царствует рутина, эта могучая царица всего богоспасаемого Замоскворечья. Что оставляют за границей, то тут часто только вводят, будто для опыта, если не годилось там, то не годится ли для русской натуры, — говорят, что она особенная! Прислуга крайне невежественна и груба… Больной, чтобы иметь право пользоваться ею, должен необходимо платить ей; выздоравливающий неминуемо тратит на пищу свои деньги. Вентиляции почти нет. Каминов — и слыхом не слыхать. Книг для чтения — нет. Назначены дни посещения, и трудно решить, почему оно не дозволено ежедневно. Погребения крайне небрежны: возят на полуразрушенных дрогах, кладут в едва сколоченные гроба. Больницы Замоскворечья, как и вообще наши больницы, стоят самым темным и пугающим призраком в глазах нашего народа; только беспомощность и крайняя бедность принуждают обращаться к ним… что касается Горихвостовской больницы, то это самый лучший самый утешительный памятник А- 11. Горихвостову; он много выше самых высоких олоколен. Д. П. Горихвостов оставил по себе три памятника, в которых довольно ясно выразилось, что он понимал наши нужды: 1) эту больницу; 2) училище для образования девиц духовного звания, на которое представителям нашего духовенства пора бы обратить более внимания, и 3) дом для призрения вдов фармацевтического

звания, который устроен им по мысли покойного доктора П. Н. Кильдюшевского… В наше время не должно забывать таких благотворителей. К более или менее благотворительным заведениям Замоскворечья, между прочим, принадлежит Варваринский сиротский дом, учрежденный А. И. Лобковым в память дочери его, г-жи Понырко: образование там ограниченно, воспитываемые девочки никуда больше не идут, как для домашней прислуги, и ничему не учатся, кроме чтения и письма, но и за то спасибо. К благотворительным же заведениям Замоскворечья принадлежит и помещенная на краю его, в Андреевской слободе, Андреевская богадельня. Она содержится благотворительностью московского купечества и суммами, пожертвованными разными лицами. В последнее время там выстроен огромный корпус, в котором помещаются 800 призреваемых из купеческого и мещанского звания. Цель и название — прекрасные, но, как угодно, нельзя не подивиться такому обществу, которое, сделав действительно доброе дело, махает потом на него рукой. Нам не раз случалось видеть, как некоторые из нашего купечества, подав копейку, давали не краснея для лобзания бедняку свою благотворящую руку. На такое омерзительное дело можно, даже и следует махнуть рукой; а как же оставить без внимания серьезное общественное благотворение, как же отдать его в руки одному, хотя бы и действительно добросовестному человеку, как вверить ему покой и последние дни жизни своих обедневших братии!.. Неужели общество не имело случая убедиться, что многие и из его членов не раз зазнавались, когда уж слишком много вручали им в руки? В службе бездоходной и заставляющей еще и самого тратить — можно быть бескорыстным, а там, где деньги под руками и притом нет никакого контроля, мало как-то к этому шансов. Дом градского общества выбирает по выборам на службу, для наблюдения за управлением богадельни, экономов; но эти лица, вероятно, по дальности расстояния, приезжают сюда очень редко, и много вероятия к тому, что смотритель богадельни разыгрывает с ними сцены, похожие на столкновения городничего с Хлестаковым… Старосты Дома градского общества, несмотря на прямую обязанность к своей службе, не обращают на Андреевскую богадельню никакого внимания, а градской голова не находит нужным беспокоить себя… А между тем нередко слышатся вымогаемые настоящим ходом управления и обращения жалобы призреваемых, жалобы, звучащие правотою и искренностию, что престарелых стариков заставляют работать такие работы, которые им уже не по силам и т. п. Больно видеть, как ловкий человек отводит глаза нашему, кажется, во многом

проницательному купцу и мудрит над дошедшими до бедности людьми, дошедшими, может быть, потому, что в жизни своей были честны и не имели храбрости играть втемную… Участь и недолгий, хотя бы только сносный покой 800 человек, кажется, стоят того, чтобы обратить на них хотя несколько большее внимание!.. От этих заведений с чисто благотворительным характером перейдем к учебно-благотворительным. На первом плане в этой группе, основанной и содержимой Московским купеческим обществом на суммы частных благотворителей, стоит московское Мещанское училище, им управляет совет из градского головы и избираемых особо для того купцов-членов и эконома… Учебною частию с начала основания и до сего времени управляет одно лицо. Совет, что ему и можно извинить, мало понимает в учебной части заведения. Всю эту учебную часть легко можно характеризовать метким стихом Грибоедова.

- Учителя: Числом поболее, ценою подешевле…

Книги постарее, поменьше изменений, больше неподвижности, как бы в угоду господствующей черте благотворящего общества… Но чему мы особенно удивлялись не раз, наталкиваясь на один характеристичный факт в Мещанском училище, — это на смешение там купеческого и мещанского обществ с духовным. Явление это, по нашему мнению, крайне странно и едва ли благотворно хотя бы и для будущего помощника производителя торговли и слуги промышленности… Бездарные, не окончившие курс семинаристы, с духом и направлением «Домашней беседы» Аскоченского, которым они набивают головы молодых воспитанников, едва ли могут быть хорошими руководителями молодого поколения… Довольно и того, что приходится наслушаться дома детям подобного общества.

Училище это, как и многое в этом роде, опять-таки выдвигает пред нами грустное действие полумеры в образовании. Программа там крайне бедная и не имеющая никакого направления, кроме обучения грамоте и письму, да в некоторой степени счетоводству; иностранных языков ни одного нет в курсе; воспитанников до сих пор занимают грубыми работами — колоньем дров, чисткой пруда; чая нет ни утром, ни вечером; белье на столе по большей части грязное и салфеток полагается далеко не на каждого, так что мальчики (это употребительное слово для названия воспитанников) принуждены заменять их бумагой, таскаемой ими в замасленном виде в кармане; приставники обращаются крайне грубо с детьми, особенно с маленькими, и нередко семинарская рука гуляет по мещанской щеке или забирается в волосы… Мы имеем еще веру в лучшее

будущее этого заведения, на лучшее направление в нем образования, в котором так нуждается наше многочисленное купеческое общество и возлагает свою надежду на Ф. Ф. Рязанова, выбранного в совет училища, человека, знакомого с потребностями своего общества. Что касается женского отделения училища, то так же смеем обратить внимание на положение его наших дам-купчих, выбранных как советниц и помощниц в деле направления воспитания. Все девочки и довольно большую часть дня заняты работою; работа — это шитье приданого богатым купеческим дочерям. Работа — дело похвальное, и приучение нашей женщины к посильной работе похвально еще более; но не употребляется ли на нее слишком много времени в ущерб классным занятиям? Это первый важный вопрос; второй в том: куда идет вырабатываемая довольно значительная сумма? Она, кажется, по всем правилам собственность работниц, а потому не дурно бы было публиковать годовой отчет доходов от работы, а также и расходов, на которые суммы эти употребляются. Нашелся бы даже и предмет, на который можно бы или скорей должно бы обращать скопляющиеся от этой работы суммы, отнюдь не употребляя их на расходы заведения, как благотворительного, следовательно, имеющего достаточный фонд, или на что-либо иное: суммы эти могли бы составлять приданое бедных, воспитывающихся там девушек. Приданое, хотя назначено и самим уставом, — но что это за приданое — это скорее насмешка над бедностию. Посудите, что могут сделать три-дцать_сорок рублей хотя в первоначальном обзаведении хозяйством новобрачной? Тут-то и могли бы помочь суммы, вырученные от собственного труда в продолжение нескольких лет, неотъемлемо принадлежащие работнице…

От мест благотворительных и ученой благотворительности перейдем к местам торговым и остановимся на этот раз на важнейших из них, необходимых для всех обитателей Москвы, — на Болоте, как центре и исходе мучной торговли, и на скотопригонном дворе, как на месте, имеющем влияние на московские цены мяса. Болото находится в жалком положении; во-первых, уже самый выбор места очень странен: мука тем лучше, чем суше, а для нее хозяйство города отводит самое сырое место. В выборе этом так и видится знаменитая смекалка, могучая помощница русского купца, вывод не ошибочный: если сыро — мука волгнет — худо не будет! Самая постройка Болота обращает уже на себя особое внимание. Архитектор отличился в ней самым блестящим образом: лавки, построенные на болотистом грунте, осели, многие из них теперь стоят как будто в яме, сырость от этого увеличивается, мука, складываемая без

всякого к тому приготовления, без перегородок, слеживается, сгорается, сырея, получает затхлость и, оставаясь иногда довольно долгое время в таком положении, совершенно портится, но не портит карманов торговцев, потому что непременно сбывается как примесь к годному товару. Болотная торговля уже достаточно очерчена в своих частностях; мы рекомендуем любопытным особенно статьи г-на Булкина; не имея нужды повторять о том, о, чем уже правдиво сказано, коснемся только ее господствующего и издавна ей присущего характера… Кормилец наш хлебушек-батюшка, как его называет наш добрый народ, обращается по большей части в ловких, торговых и даже не всегда чистых руках; руки эти берут с него большую часть поживы и достигают этого скупкой хлеба в разных местах по селам, деревням, в экономиях, составляют партии, забирают из своих видов, особенно при неурожаях, в нескольких местах даже и небольшие партии других мелких торговцев и нередко, особенно в крутых обстоятельствах распоряжаются ценами по произволу. Тор-ля эта, следовательно, носит издавна нам знакомый мрачный характер монополии. Труженик-крестьянин, обливающий своим потом и зеленеющие, и колосящиеся нивы, которыми мы так любим любоваться и которые нередко воспеваются нашими поэтами, пользуется от своего тяжелого труда несравненно менее купца-торговца…

Хлебопашец продает свой хлеб большею частию в то время, когда ему, как говорится, позарез нужны деньги. Продает он его опять-таки большею частию не потребителю, а торговцу: кулак часто не дает ему даже показать носа в ближайшем городе: он сам является по селам и деревням и тут чаще всего — хочешь не хочешь — продавай! Потому что не продашь нынешний раз — нужда заставит обратиться к кулаку другой. Мелкий скупщик наживает от более крупного, более крупный от самого крупного, крупный кулак начинает снова процедуру наживы, и так от небольшого торговца до коновода, уже одного из главных двигателей дела. Можно представить, за что по большей части принужден продавать свой труд и свой хлеб несильный, небогатый русский хлебопашец.

Положение наших хлебных торговцев крайне несимпатично: уже, во-первых, то, что для всех, или, по крайней мере, для большей части горе, — для них радость; неурожай, голодный год, составляя общее несчастие, для них — золотое время. Чтобы понять это, стоит только присмотреться к их сияющим лицам, когда весною получают они известия о засухе, о разных обстоятельствах, обещающих неурожай. Первая их уловка — распустить как можно больше слухов об этом неурожае; этим они

сейчас же подымают цены на муку, крупу, овес, часто до тех чудовищных цифр, которыми мы имеем удовольствие любоваться последние годы и в настоящее время. Иногда эти слухи и не оправдываются, а все-таки торговец зачерпнет благодаря им малую толику и заставит бедного человека задуматься — и самому есть скрепя сердце, и меньше давать овса часто единственной кормилице — лошадке.

Нередко эти искусственные меры, особенно в лавочной торговле, до которой вообще не скоро достигает влияние перемены цен на главных рынках и которая особенно важна для человека, не покупающего оптом, продолжают иметь влияние и очень долгое время, часто до тех пор, пока дешевый хлеб покажется в Москве по первозимью… Эта-то уловка, скупка в одни руки насущной народной потребности, характер монополии в такой торговле, где бы не должно быть ее и следа, дали средства в старые неурожайные годы (а их у нас было немало) и в прошедшее неурожайное десятилетие составить значительные состояния, которыми мы любуемся и которым простодушно удивляемся. Кузня, лаборатория этих состояний — наше славное, московское, производительное не одною своею сыростию Болото!.. Не знаем почему, а даже и в самый легкий пересмотр положения нашей хлебной торговли приходят нам на мысль хлебные законы других стран.

Скотопригонный двор представляет не менее Болота грустное место: это не что иное, как грязная площадь, на которой ставятся гурты скота, назначенного для продовольствия Москвы.

Опять мы наталкиваемся на место с темным характером, господствующей чертой замоскворецкой жизни, опять, внимательно вглядываясь в эту темноту, может быть, по привычке к ней, видим торжественно восседающую среди ее давно уже знакомую нам, хотя уже потерявшую много зубов, особенно в последнее время, но, вероятно, поэтому-то именно злую и еще больнее кусающуюся, седую, дряхлую старуху — монополию. И в мясной торговле, как и во многих прочих, дело не обходится без коновода, без запевалы, который дает ему тон и предводительствует целым ополчением московских мясников; это издавна известный всей Москве мясник. Он, к его чести, главный вожатый, всеместный подрядчик на поставку мяса во многие казенные заведения, казармы, фабрики, богадельни, больницы, училища и т. д., чем и составил себе значительное состояние, да и как не составить, когда нередко порядочная говядина в Москве доходит до 10—11 коп. сер. за фунт!

В дело скотопригонного двора до сих пор внесено так мало света, что при всей привычке замечать кое-что в темноте многого

в ней не разглядишь; нередко, впрочем, видим мы в ней только несколько десятков голов много сотню бессловесного скота, подымающего своим незначительным числом цены на свое мясо между тем как на нескольких местах нарочно задерживаются целые гурты их собратьев; нередко видим как эти гурты прячутся по разным деревням, и в златоглавую Москву вгоняют их понемножку, вероятно, из деликатного чувства, чтобы не испугать не привыкших к такому зрелищу жителей; часто наталкиваемся на животных с понурыми головами, вероятно, по предчувствию своей участи, на угловато выдавшиеся их кости, на исполосованную безжалостной рукой погонщиков их кожу, на скудный предсмертный корм их, по здравомыслящей русской экономии — не кормить досыта того, что уже обречено смерти.

Хотя закон наш и гласит, что должно строго осматривать назначенную на убой скотину, но мы редко видим прикомандированных к тому медиков, вероятно, по причине той же темноты. Место смотрителя скотопригонного двора — иное дело: его получить почему-то очень трудно, и получают только счастливые и избранные от мира сего. Самую малую часть счастливого положения этого места мы едва-едва угадываем; хорошо оно кажется потому, что очень удобно быть начальником над бессловесными и распоряжаться по произволу тем, кто ничего не понимает. Говорят, что на скотопригонном дворе нет даже порядочно выверенных весов, будто неопрятность страшная, прислуга грубая, грязная, во время торгов идет между купцами-мясниками крик, брань… Мы этого по темноте не видали, слыхали только так называемый гам и решительно отказываемся верить вовсе без исключения: зная, что наблюдение за всем этим принадлежит градскому голове и что общество на подмогу ему дает торговую депутацию из пятидесяти человек, из которых выбираются даже полицеймейстеры депутации; следовательно, быть не может, чтобы при таком порядке был такой беспорядок…

Говоря о скотопригонном дворе, нам вспомнилась такса на мясо, которая и в ведомостях печаталась, и в лавках прибивалась к стенам. Говорят, что она уничтожится — и хорошо! Одной бесполезной формой меньше — нужно бы вместо нее что-нибудь посущественнее…

Теперь мы спустимся к самой Москве-реке, давшей название очерчиваемой нами части города, и вместе с тем представим программу того, о чем осталось нам еще сказать, говоря о Замоскворечье… Предметов еще много; но так как наша статья разрослась уже довольно пространно, то кроме самой реки, хотя и не поилицы Москвы, мы коснемся только некоторых особенностей Замоскворечья. Особенности найдутся и в том, о чем мы

говорили; они есть и в постах, общих всей Москве, и в полиции, и в освещении, и в жизни приказчика и мальчика, и, наконец, в лошадиной охоте, и в отдельном сословии свах, главное местопребывание которых опять-таки — Замоскворечье… Этапом, принадлежащим уже собственно Рогожской части, мы заключим на этот раз наши очерки; поберегли мы его именно к концу Замоскворечья потому, что несколько замеченных в нем черт дают уже довольно резкое понятие о разнице в жизни этих, во многом родственных, во многом и чуждых друг другу местностей… Итак…

Москва-река. Как в природе еще много непонятного, так особенно много его в судьбе Москвы-реки… Река эта по природе своей принадлежит к числу рек маловодных; искусство уже не раз хотело поправить этот недостаток и — не поправило, несмотря на то, что было, кажется, немало истрачено на шлюзы, которые в бездействии живут и в настоящее время; говорено также не раз, и чуть ли также не раз было и печатано, о проекте соединения Москвы-реки с каким-то водохранилищем; ходило про все это много слухов, которые лишь привели к тому, что по реке едва, как говорится, куры не ходят. Река — зеркало чистоты города; в Москву же в реку, право, и без всякого преувеличения, иной раз страшно посмотреться, как в зеркало: Боже правый, чего в нее не льется, чего не сыплется, какими запахами не обдает она в разных своих местах! А берега, берега — что это за живописные и что это вместе с тем за грязные, сорные, вонючие берега! Все везется, все тащится — всякая грязь, навоз с улиц, сор, падаль — все в Москву-реку, все на ее берега… И около этого же берега кухарка или дворник зачерпывает водицы на самовары, кипятят ее — матушку и пьют себе во «славу Божию, хваля боярина и боярыню его белолицию Не знаем, да трудно и представить, что бы было с Москвой без дара Божия — мытищинской воды, но она, к сожалению, не везде доступна, и до сих пор о ней помина нет за Москвою-рекой. Правда, там сделаны бассейны фильтрованной москворецкой воды, но ходят слухи, что они оказываются неудобными, хотят будто а да проводить мытищинскую воду — все так! Ну, дальние бедные предместья города, какие-нибудь Хамовники, Драгомилово, Щемиловка, слободки разные с клетушками вместо домов, где нет не только дворника, но часто и кухарки и где еще вода продается по лавочкам? Даром нет, платить за такой, обильно распространенный Богом дар, не хочется, и спустишься, накинув коромысла, к Москве-реке по ее сорным берегам, по которым между разными трупьями кошек, собак и иных пробираются вонючие потоки и где обильно находит пищу вместе с вороном и ястребом и человек-тряпичник, и

зачерпнешь ее водицы… А как хороша ты, Москва-река, какие виды на тебе — хоть бы панорама Воспитательного дома, хоть бы Храм Спаса, при котором как-то вспоминается старый его проект и Воробьевы горы, и сурово мелькнет в воображении градский голова Шестов. А далее, с Крымского брода, вид на «Нескучное», на самые Воробьевы горы — что за прелесть и что за грязь и за вонь, если подойти ближе!

В Москве как торговом городе и на реке есть торговые заведения. Дума получает доход с реки за отдачу места под плоты или портомойни, под купальни и за перевоз в полую воду, а в некоторых [местах] и в неполую, как, например, под Воробьевыми, под поэтическим Симоновым с цветущим теперь тиною «Лизиным прудом» и в некоторых местах и в самом городе… Портомойни считаются делом неважным, и в их устройстве нет ровно никакого устройства. Это просто плоты, открытые всем влияниям воды и воздуха; они не раз обращали на себя, вероятно, не одно наше внимание картиной чисто отечественного колорита. Мороз эдак градусов в двадцать с хвостиком — кругом лед, снег скрипучий, ветер пронизывает насквозь, прорубь то и дело подергивает тонкою пленкою льда, стоишь где-нибудь у моста в теплой шубе, надвинув понадежнее шапку, стоишь, переминаясь с ноги на ногу, и любуешься. На плоту, на открытом воздухе, идет работа; женщины, иные в нагольных тулупах, иные в заячьих шубах, а иные и просто в ватных куцавейках и в серпяных армяках, в сапогах, в калошах и в башмаках, смотря по состоянию и зажиточности хозяина (иногда прачки и кухарки, не желая жертвовать жизнию, договариваются в портомойном платье, в тулупе, сапогах, которые должны быть хозяйскими, — предоставляем судить, что находят они у бедных людей), работают вальками, вода мерзнет на белье, валек прилипает — горячо… Кряхтят труженицы, стонут мокрые ноги, плот то и дело покрывается водою, ломит руки, ломит поясницу, горит голова, кое-как укутанная бумажным или шерстяным платком, и иногда, да и нередко, продолжает болеть и после, потом и охлаждается тоже нередко, только тогда, когда на нее вместо снятого платка наденут венчик с образом Богородицы Портомойня зимою, как можно видеть, дело нелегкое для московских прачек, кухарок и всех, делающих ей визиты: надо бы как-нибудь вместе с широкими планами изменений подумать и об этих пустяках. Прачечное заведение подало пример, но судьба улучшений не дело отдельного лица, а уже целого общества. К торговым заведениям принадлежат также и купальни. Известная «школа плавания», купальни у Москворецкого моста и на Бабьем городке, принадлежащие одному и тому же лицу, носят на себе

характер откупной системы и дороги, и во многих отношениях неудовлетворительны. Школа хотя и довольно удобна, но страшно дорога, 10 р. сер. за одну холодную воду, под простой парусиной, без простынь, без порядочной обстановки, без достаточного числа прислуги. Общество прачечных заведений, устроившее свою купальню у Каменного моста, — неопасный конкурент школы: купальня его не носит на себе следов новейших усовершенствований, хотя цены ее сноснее; хуже всего то, что оно на вывешенных объявлениях ни за что не отвечает — какое доверие может быть в этом же отношении к такому обществу? Проходя рекою, невольно посетуешь на довольно слабый надзор за ее берегами, где и творится немало темного.

Касаясь жизни купца как господствующего класса в — Замоскворечье, нельзя без боли, дорастающей часто до негодования, пройти мимо рядом идущей с ней жизни приказчика и мальчика… Отношения хозяина к приказчику представляют мало человеческого, даже ив наше гуманное время. Они действительно начинают немного смягчаться, особенно в последние десять лет, но то, что еще случается видеть, на что натолкнешься или слышишь от самого класса служащих как вынужденную жалобу накладывает много темных теней на эти отношения, в основании которых лежит не более-менее как - свободный договор. Они хотя таки они касаются не одного Замоскворечья, но там опять- таки они форменнее, нагляднее. Просим покорно нашего читателя взглянуть летом часов около семи-вось-ми вечера, зимою около пяти на Москворецкий мост просим внимательнее приглядеться, в чем и как возвращается купеческий мальчик из рядов домой. В лавке его часто трудно разглядеть, его там целый день гонмя гоняют из одного места в другое, в ином месте он — что твоя рабочая лошадь, если не выпадает на долю еще худшей судьбы — стоять истуканом у притолоки лавки оптового торговца или лаять и зазывать покупателя у мелочного. Встретя оборванного, запачканного, зимой, в страшный холод, часто в какой-нибудь синей чуйке, в старом хозяйском картузе, измученного, нередко охрипшего от крика или от холода, вы подумаете, что он уже свободен после трудового дня, что он остановился и зевает на реку, покрытую льдом, на счастливцев, режущих коньками этот лед. Иногда так; но чаще останавливается он не по своей воле, а по воле ноши, которая надломила ему плечи, не рад, разумеется, он, что и остановился, потому, знает, не пройдет это ему дома даром, и, оглянувшись кругом, много увидите вы в это время маленьких белых негров, согнутых непосильной ношей, может быть, в иную пору под вкусными принадлежностями постного стола богобо-

язливых хозяев. Придет и домой мальчик, но нечего и думать об отдыхе: тут надо помочь и приказчику, вымещающему на нем свою досаду, и кухарке, нередко и кучеру, отдых тогда, когда лишь все захрапят в доме, только и отдых, что во сне, до первого пинка, до ранней возни с сапогами и до снова — мучительного дня… Положение приказчика также немногим лучше. Одно уже то, что большая часть приказчиков получают 150, 200 и 300 р. с. жалованья при дороговизне жизни в Москве, освещает много из их положения; при этом большая часть из них должна и обедать из этих же денег (говорим обедать, между тем как этот обед не более как закуска всухомятку, всего понемногу из того, что подешевле из носимого разносчиками в городе). Квартира холостым дается хозяйская; но что это за квартира — это каморки, так называемые молодцовские, в которых помещаются без всякой опрятности, не говоря уже об удобстве; это большею частию сырые комнаты, положительно вредные для здоровья, где-нибудь внизу, вблизи кухни, в соседстве с кучером, с дворником. и особенно замоскорецкого, решительно бесчеловечна со всеми служащими делу и смотрит на своих приказчиков, как на что-то низшее себя, как на людей без всяких потребностей. Расширяя, например, дело, увеличивая число служащих, многие ли подумают об увеличении помещения? Очень немногие; большая часть складывает их, как товар, и в так уже тесный амбар и заставляет этот товар серьезно подумывать о своем положении и располагаться враждебно к хозяину. Покушение на личность приказчика развилось до самых вопиющих размеров, и существует очень любопытный факт, что большая часть монахов и людей потерявшихся, людей разных вольных профессий — из приказчиков. До этого факта доводят самым естественным образом: гнет, пренебрежение, куча разных нелепостей, которые можно назвать общим именем прислуживания, господствующий тон жизни. Часто, например, приказчик вместе с тем и конторщик, пробившись и зимою назябнувшись целый день в Городе, ему приходится, как только отойдут руки, приниматься за перо. Вся неделя, все будни работа без просвету, без отдыху, без малейшего развлечения, отлучиться куда, и особенно без позволения, — и подумать нельзя. Избави Бог, если хозяин, восседающий с хозяйкой и семейством в ложе, заметит где-нибудь в театре приказчика, — тут одно средство — бежать, теряя и деньги и удовольствие, особенно если улизнул потихоньку или выпросился куда-нибудь в другое место, надул по нужде опасною болезнию или, пожалуй, и смертию близкого родственника. А что же остается делать: попросишь честно — наверное отказ: «По будним в театры?.. Да что ты, белены, что ли, объелся?.. Я в

театр, ты в театр, да ты понимаешь ли, что ты такое!» Тут и до отказа от места недолго. Иногда спросят еще: «А на какие Деньги а?>> — и так прищурится левый глаз. Поэтому что так и скажет: у меня, дескать, украл человек!"

Окончится безысходная неделя, придет Воскресенье с своей евангельской свободой или праздник Господен или чтимого церковию святого — немногим легче труженику, кроме того, что хочешь не хочешь ступай к заутрене, к обедне, часто если хозяин староста, являйся к ящику, расставляй свечи, ступай по церкви с блюдом, с кружкой; иногда и помолился бы простою, скорбною душою, и тут тебя толкнут то с той, то с другой стороны. Свечку такому-то угоднику, или проложить дорогу какой-нибудь барыне, которой вздумалось приехать под конец, или вывести хозяйскую дочку, которой сделалось дурно в сильно затянутом корсете, дочку, и с тяжеловесной маменькой — одну ни-ни!.. Там, глядишь, свечка отекла, там нищие на паперти бранятся, и стоит себе хозяин в образе старосты и тут, как нередко и в других случаях, выезжает на своих молодцах, и все это из одного усердия, а это усердие такового рода, что попробуй показать какое-нибудь неудовольствие у ящика, так и с места слетишь — зазнался, мол… Беда, если некоторые гуманные хозяева имеют привычку приглашать на некоторые праздники некоторых приказчиков к себе на чашку чая. Эта несчастная чашка чая колом в горле становится у каждого из них при господствующей обстановке: во-первых, примут их как оплеванных, хозяйка и хозяйские дети еле удостоят ответом на их униженные поклоны; разве какой-нибудь подлипала, начинающий забирать в руки хозяина, окажется посмелее и, откланявшись, вступит с хозяином в речь. Выпивши по чашке, все непременно обернут чашки вверх дном; последует односложное «кушайте»; нальют по другой; молчанье ложится тяжелым гнетом; оно яснее всего показывает, какие тут отношения одного к другому; невыносимо для совестливого человека, говорили некоторые нам, оставляя эту нравственную пытку. Кое-кто посмелее выпьет третью, и потом надо, сколько требует приличие, посидеть; прежнее молчание и гнет. Праздничный обед — лучшее время для приказчика, он по крайней мере пораспарит горячим свой затвердевший от недельной сухомятки желудок; после обеда прикорнет и приказчик на часок, на другой или побренчит на гитаре, покурлыкает песню, а кто посмелее, тайком улизнет для более нежащих целей. Дойдя до этой чувствительной, как выражается приказчество (составляющее также своего рода касту) или страмной, как говорят женатые хозяева, стороны жизни приказчика, невольно останавливаешься пред странными

воззрениями на этот щекотливый предмет, который в печати называется известною физиологическою потребностию… Хозяин строго преследует развитие в приказчике нежных сторон: «Избави тебя Боже, — говорит он почти каждому при найме, — если что-нибудь проведаю про тебя в этом отношении, — сейчас же со двора долой…» — «Помилуйте, как же-с это можно!» — отвечает, ухмыляясь, приказчик, по большей части долгое время холостяк. С этих двух фраз хозяин и приказчик становятся и в этом отношении в странное положение… Хозяин подсматривает, приказчик держит ухо востро и, хочешь не хочешь, делается плутом. Иной так ведет свои дела, что, как говорится, пальца не подпустишь — все как с гуся, вода; но большая часть их в самые сладкие минуты в жизни чувствуют на себе хозяйскую руку и, бывши отпущены на часы, делаются жертвами подобного направления… Нашей статье, разумеется, не было бы и дела до этих неприличных отношений, если б не пришлось знать и ведать, что они ведут к частому и нередко трудно излечиваемому развитию сифилиса, который, упорно скрываясь из-под страха лишиться места, обнаруживается, когда достигнет высокой степени развития, и бедные люди выгоняются из дома как зараза; и если б не больницы, то ложись хоть на улице, а подобные больницы кладут на долгое время пятно на человека, что и ставится в порок. Из этого понятно, что иногда бедный человек, имея только в будущем какие-нибудь — 300 р. сер. жалованья, решается жениться из необходимости, часто, между прочим, и из того, чтоб иметь предлог не жить в хозяйском доме; от этого происходит немалая доля несчастной семейной жизни этого класса нищенства детей и вдов. Положение русского приказчика и купеческого мальчика: малые оклады, гнет жизни, плутовство > ожесточение и болезненное нравственное унижение, неизвестность будущего, произвол и безотрадность в этом кругу.

Нигде так ни процветает лошадиная охота, как в Москве, никакому классу из людей, живущих службой, нет такого раздолья, как кучерам. У дворян охота эта имеет свой характер: дворянин или заводчик, или аматер, или барышник; купец — охотник или неохотник — почти всегда барышник. В нем это чувство более народно, но доведено до безобразной крайности. На Замоскворечье опять-таки ярче, нежели на другом месте, лежит характер купеческой лошадемании, в которой кучер играет более самостоятельную роль, нежели приказчик в торговом деле. Это происходит очень простым образом. Купец большею частию человек домовитый; для него, как и для нашего простолюдина, своя земля, свой дом, одним словом, оседлость — первая забота в жизни. Как только завелась тысчонка, другая (про которые, если

говорится во всеуслышание, так, значит, есть и побольше), первым делом его — пожить домком. В этой жизни жена, лошадка, иногда и коровка играют главные роли; спальня и конюшня у многих устраиваются в одно время: «Завожусь женою, братец ты мой, да вот лошадок хочу посмотреть…» Наслаждение семейной жизнью и наслаждение конюшней, следовательно, сливается в одно и идут долгое время, а у охотника и целую жизнь рука в руку. Кучер является доверенным конюшни, иногда он понимает в своем деле более хозяина, хозяин не всегда может усмотреть за ним, да притом лошади, по купеческому выражению — живой товар, а иногда в руках кучера его тысяч на десять — так тут поневоле будешь с ним поласковее. Это только первая степень преимущества кучера перед приказчиком; во второй уже имеется больше прав, когда хозяин вместе и охотник и барышник — тут уж кучер и хозяин — «рука руку моет». В деле другой торговли разные торговые приемы — дело обыкновенное, и приказчик обязан про них молчать, иначе ступай на все четыре и никто не возьмет за длинный язык; в охоте же кучеру рта не замажешь, хорошего кучера всякий возьмет, тут поневоле надо быть политичнее… Замоскворечье играет значительную роль в отношении лошадиной охоты; там, между прочим, есть и конный базар, называемый просто конною, где цыгане, кучера, и купцы, и баре-охотники ведут своеобразное охотницкое дело и где пригородный крестьянин, мещанин-обыватель, купец — мирный гражданин, дворянин-москвич являются редкими покупателями. Тут дело кипит между своими и потом уже достается во вторые и третьи руки. Опять мир своеобразия, но мир плутней, плутней еще мелких, крупные по этой части спрятаны за тесовыми воротами, в каменных конюшнях, у охотников-усачей и у представительных граждан с православными бородами, им же сахар постом — великий грех, а подай нам меду…

Самым крупным образцом по московской лошадиной охоте может быть поставлено одно лицо, которого —

Не надо называть: узнаешь по портрету.

Он купец, и по лошадиной охоте ему так повезло, что он почти бросил все другие занятия; лошадиная охота или собственно торговля лошадьми стала его специаль-ностию; при доме его у него устроены великолепная конюшня и манеж, при конюшне особенная комната, где, как говорят, охотники «обмывают копытца» и где, вероятно, для этой же цели, являются и целые хоры цыган. Вероятно, многие знают хозяина по его великолепной вороной четверке, в которой он красуется и в Сокольниках, и в Подновинском, и в Парке; вероятно, отцы и матери семейств слыхали о его примерной жизни с женой и о

ранней смерти этой жены *; что касается купеческого общества, то оно давно знает его; опытные отцы предостерегают от него неопытных, дурашливых, как они называют, сынов своих; жены молятся, чтобы лукавый не натолкнул мужей их на знакомство с этим барином. По всему этому заметно, что господин этот стоит во главе лошадиной охоты и задает ей тон, — и это действительно так; он знаком со всеми более или менее составившими себе репутацию кучерами, ставит их с собой в дружеской компании на ты, зовет их не иначе, как Петрушами, Гришами, и с помощью их обделывает свои дела. Кучеров у него не один: некоторые получают значительное жалованье, так что жалованье кучеру 200, 300 р. с. — дело обыкновенное в купеческом доме; присоедините сюда доходы, да полное содержание, уже многим превышающее жалованье приказчика, и задушевные отношения, по охоте, как говорится, — все это ставит кучера много ближе к хозяину, особенно у охотников, которые вообще нередки. В иных домах, а преимущественно в былое время, легко было провести параллель ублажения кучера с воспитанием детей: кучер получал означенное нами жалованье, между тем как на воспитание детей у дьячка, или у приходского диакона, или у какого-нибудь педагога-самозванца шло не более 50—100 р. с. О положении кучеров у купчих-вдов или у здоровых жен при слабых мужьях мы уже и не говорим: оно может объясниться только общим характером этого круга. Честь на них начинается уже спадать… Лошадиная охота и все ютящееся около нее, как говорится, соком вышло нашему обществу; она по большей части бывает не малою долею виновна в банкротствах. Особенно в этом отношении помогают батюшкам сынки, и стоит только посмотреть в праздники на Ильинку, то и будет понятно, куда уходят значительные суммы: взгляните на дорогие экипажи, которые меняются чуть не каждый год, узнайте цены рысакам, которых у иного штук до десяти, полюбуйтесь зимою на бобровые шапки кучеров, на опушку их кафтанов, на самые кафтаны, на множество расходов, сопряженных с охотой, и вам будет понятно, как проживают значительное состояние, не выезжая из Москвы, тем более что чаще всего с охотой соединяются ухарство, кутеж, катанья на милые места, Байкал и Стрельну, частые обеды, ужины, значительные пари на беговом круге… Так, еще недавно один тоже из знаменитых охотников, кучер которого, чтоб быть солиднее и толще, нарочно отпаивался портером и мадерой, получив значительное наследство от дяди, прожив его в скором времени на лошадей и экипажи и т. п., опутанный известным всей Москве по этой части армянином, бежал на Город и объявил себя банкротом. Таких примеров немало.

Теперь следуют, по очереди, свахи.

Свахи — явление чисто национальное, намекающее на многое в русской жизни. Замоскворечье и в этом отношении может сделать нам услугу, осветивши в своей оригинальности многое из этого явления.

Объяснять, что такое сваха, — нечего, нужно раскрыть только то значение, которое она имеет.

Где нет общества в полном его значении или по крайней мере общественности, там самый ход жизни обусловливает посредников. Только одно, именно торговля, производит совершенно обратные последствия, т. е. чем она развитее, тем более занимает посредников, маклеров, агентов, уполномоченных. В русской торговле, исключая разве Петербург и отчасти Одессу, еще вообще мало посредников. В деле брака, в деле, кажется бы, чисто общественном, хотя у нас и смахивающем на торговлю, мы видим, напротив, множество посредников, и свах и сватов, особенно в том обществе, в котором мало общества. Из этого выходит диковинный вывод, что сватовство, как нечто похожее на торговлю, развито у нас более, нежели самая торговля.

По этому диковинному выводу является также диковинное сравнение свахи и маклера. Вглядываясь внимательно, кажется, нечего и спорить, что они очень похожи друг на друга. Как та, так и другой действуют по поручению, как та, так и другой хвалят свой товар, часто нисколько не знавши его и нередко положительно зная, что он дурен, — лишь бы с рук сбыть. Это уже не новость, и кто из нас не хохотал на Феклу Ивановну в «Женитьбе», как она начинает похваливать: «Как рефинат! Белая, румяная, как кровь с молоком, сладость такая, что и рассказать нельзя». Не все ли это одно, как маклер рекомендует, хоть, например, сахар, что и сух, и огневой, и без запаха, или приказчик какой-нибудь завалявшийся товар за наипервейший или самый первый сорт? Сходство тут во всех частностях: от хвалящего маклера потребуют образцов, у приказчика товар попробуют, да и сваху, сколько ни похваливай, попросят самолично взглянуть. Разница тут только в том, что за настоящий товар платят деньгами, за товар же Феклы Ивановны денег требуют. Уже на что Подколесин, и тот спрашивает: «А приданое-то, приданое?..» Приданое, называемое иначе прилагательным, имеет главный вес в товаре Феклы Ивановны, даже в глазах и не Подколесиных; Кречинским оно осветило одну сторону общества, сотнями более или менее удачных рассказов, комедий, повестей освещает другие, но едва ли что так ярко и подробно можно осветить им, как общество купеческое.

Во-первых, она только и то довольно редко, владеет на деле чем-нибудь своим или является собственницею, когда дела мужа заставят перевести дом, лавки или что-либо другое из недвижимого на ее имя, и тогда собственность ее не более, как форменная. Судьба ее как женщины без сравнения хуже женщины-дворянки; несравненно большее развитие последней, развитие, требуемое обществом, дает ей преимущества и права женщины образованной; образование хотя и редко, но является уже как капитал в крайних случаях. Крестьянка ценится как работница, и работящую, здоровую девку берут нередко и без приданого и даже в богатую семью, а между тем, что такое купеческая дочь без приданого? Кто ее возьмет так, не за деньги? И много ли примеров, чтобы богатая невеста имела какие-нибудь более ценные качества, кроме денег; разумеется, странно сказать, чтоб не было совсем исключений, но ведь исключения из целого не составляют правила. Одно только берется в расчет при деньгах — красота, но за одну красоту берут разве старики, при которых хорошенькая жена смотрит чем-то вроде одалиски. Вывод выходит очень грустный, он таков, что купчиха или купеческая дочь без капитала или без приданого почти — ровно ничего!

Этот грустный вывод, как, может быть, это ни покажется странно, имеет очень близкое отношение к предмету, которым мы начали эту статью, — к свахам. Постараемся войти в посильно подробный разбор таких странных отношений. Может быть, покажется неестественным, что, обходя воспитание, которое названо нами капиталом в другом обществе, мы отнеслись прямо к предмету не так важному; но нам кажется, что свахи и вообще образ совершения наших браков обусловливают некоторым образом и самое воспитание в этом обществе и что еще беда той девушке, которая бы захотела выйти замуж без свахи.

Роль свахи, следовательно, гораздо важнее, нежели о ней вообще думают, — действительно так, и вот именно по каким уважительным причинам: женихи и невесты в купеческом и вообще в среднем обществе располагаются двумя несообщающимися лагерями и в значительном расстоянии друг от друга, так что им трудно и рассмотреть как следует друг друга. Женихи народ досужий, и всякий из них себе на уме (а кто себе на уме более, тот, по господствующему мнению, и умнее). Ловкий жених начинает высматривать невесту, когда у него только что пробивается ус; он, по большей части, смотрит не на невесту — это дело второстепенное, а на ярлычок, который можно подразумевать на каждой из них, ярлычок, который красноречиво и выразительно гласит о цифре ее прилагательного. Но как во всякой торговле есть своего рода сноровка, а в нашей нередко

наткнешься и на обман, то вся мудрость состоит в том, чтобы дальновидно проникнуть, верна ли и на сколько верна цифра ярлыка, который, главным образом, и обращает на себя внимание тех спекулянтов на собственную особу, которые зовутся женихами. Для этого употребляются разные хитрые коммерческие приемы и сноровки, в числе которых немалую роль играет сваха, но сваха тут уже на втором месте, ей, как и маклеру, начинают мало верить и входят в дело стороной. Важную роль сваха играет, когда еще женихи не трогаются из лагеря и, так сказать, только высматривают место: она является при этом посредствующим лицом между обоими лагерями и натравляет одних на других. Ясное, разумеется, дело, что невесты богатые стоят в первой шеренге, на виду, и скрывают за собой менее богатых, вытесняя совсем бедных и отнимая от них, может быть, без ведома для себя, все человеческие права. Сваха при богатой невесте то же, что маклер, попавший в милость богатому негоцианту: ее чуть не носят на руках, и всякий, даже какой-нибудь общипанный женишок, не пропустит случая познакомиться с ней и заискать ее расположения — потому: кто его знает — может, и судьба! Свахе богатой невесты труда не много, не более как и маклеру, разумеется, немцу, продать товар в кредит: ей стоит только кивнуть — и женихи бросятся, что твои гончие на зайца. Другое дело свахе небогатой невесты — тут труда немало. Вытащить небогатую, хотя бы и хорошенькую и умную девушку и поставить ее впереди богатой дуры действительно большая заслуга. За это берутся только такие свахи, которые не поладят с богатыми; самая же несчастная доля, если придется продавать одну красоту, хотя с умом и для законного брака. Авось! Дескать!

Нам самим становится как-то досадно, что сравнение свахи и маклера выходит так верно почти во всех частях, постараемся отыскать в ней другие, может быть, более благородные черты. Ну что ж, в самом деле, за беда, что в том, что у нас окрещено именем купечества, почти совсем нет общества, что наше юное поколение, при всей своей развитости, не имеет случая познакомиться с девицами своего круга и выбрать из них по сердцу жену и мать детям своим, что нет почти обычая, кроме самых крошечных исключений, собирать простые вечера, как это делается в других, менее достаточных обществах, что молодому человеку этого круга не удастся перемолвить и двух слов с девушкой, которую он после десятка визитов да несчастных пародий на балы назовет своей женою и пойдет с ней на всю жизнь рука в руку, иногда потом заметив, не далее недели, что она ему не по характеру, не по нраву; нет еще беды в том, что иная горячая голова и теплое сердце, наскучив однообразием и

тоской без общественной жизни, не имея случая смягчить своих молодых порывов благотворным влиянием беседы женщины, женской теплой, участной речью, бросается в жизнь очертя голову и ищет ее там, где ее только один остов; не беда, что кучи камелий, плодящиеся год от году, живут по большей части на купеческие деньги, что формальные мужья проживают в них приданое жен и что не только молодой человек этого класса (разумеется, не без исключений), но и старик с теплою душою заводит где-нибудь в тиши какую-нибудь Аннушку и ездит к ней из лавки, живет для нее и просит ее не напоминать ему о жене, потому что она взята им только из-за денег и давно противна ему. Все это, разумеется, не беда, и есть ли время заниматься такими пустяками, сводить там молодых людей в общества да смотреть, что там из этого выйдет; когда же дражайшему папеньке где-нибудь покутить у Патрикеева, когда же позабавиться трынкой иль в преферансик? Домашняя обстановка тут не годится, когда же и пожить, отравляя себя поддельными винами или настоящим шампанским, или, с другой стороны, когда же считать сундучок, когда же найти время помучить семью, наводя на нее едва ли не страх своим присутствием и молчаливым деспотизмом, как же отказать себе в подобных удовольствиях и для такого плевого дела, как смотрины, — все дело-то можно в два часа кончить, на что ж у нас свахи — эдак, пожалуй, и русским перестанут считать.

И замолкает при этих мудрых речах молодое поколение и идет оно к венцу, повесив голову… Мужчина еще же является жертвою такого направления; он купец, он приобретатель, и если ему не нравится жена, то он смотрит на нее, как на неизбежное зло, чует только, что несет она со своим белым телом столько-то тысяч; для чего же ему над этим белым телом не потешиться? — придет время, умрет отец — глава, жизнь будет вольная, можно жену в сторону! Женщина является действительно жалкою, безответною жертвою подобного направления; редкая, не видя кругом ничего, не зная ничего, не бывши разбужена к жизни ни одним толчком, видя постороннего мужчину только в приказчике, на которого заставляют ее смотреть как на существо низшее, или сталкиваясь с кавалерами на свадебных баликах, редкая оказывает сопротивление самодурской воле родителей.

— Нравится, что ль, тебе такой-то? — спросит отец строгим голосом.

— Не знаю, папа… кажется, немножко мешковат…

— Мешковат, мешковат, я и сам был мешковат, а теперь, видишь, какой!

— Как вам будет угодно… ваша воля!

И, глядишь, выходит хорошенькая и довольно образованная

девушка за какого-нибудь полуидиота, который, разинувши рот, начнет для ее удовольствия разъезжать с ней в колясках, чаще всего на ее же деньги…

Последствия таких и подобных им браков ужасны: и теперь во многих местах, и не одного Замоскворечья, пред нами мелькает немало бедных жертв, с борьбою между проснувшимся чувством и сознаваемым долгом, с тиранническим обращением мужей, замечающих проявление этого чувства, с их татарскою ревностию за каждый шаг, за каждое слово; и немало еще цветущих, улыбающихся теперь личиков побледнеют и онемеют при подобном направлении купеческих браков: редко там счастие, где его ставят на карту… Да еще часто-часто по-шулерски! Не легче их и некоторым из стоящих на очереди женихов, если они способны на чувство… Но пока остается закрыть глаза пред подобными явлениями, обратимся снова к свахам, мы еще не совсем знакомы с ними, тут, по крайней мере, можно посмеяться.

Вероятно, многие слыхали о росписях, но не все знают, что это такое- В самой сущности роспись — выдумка очень хитрая в деле свадьбы, на росписи немало обжигались; это своего рода акции какого-либо хитро задуманного общества. Посредствующим лицом в передачи росписи является опять-таки сваха которая, сообразно со своим талантом, изукрашивает ее по-своему; роспись является на сцену иногда и большею частию — до смотрин, иногда после…

Росписью уже шире раздвигаются пред нами рамки свадебного дела. Роспись — своего рода акт, план афиша, то и другое, и третье вместе; она уже имеет надлежащую форму и пишется почти всегда одинаково: начало ее положительно неизменяемо, и в заголовке постоянно стоит, как и следует христианам православным, «В начале Божие милосердие». Следует исчисление икон с подробным обозначением «во имя» и полнейшим описанием окладов: с жемчугом ли, с каменьями ли самоцветными, с иным ли каким украшением. Икон всегда бывает достаточное количество, и чем богаче свадьба, тем число икон значительнее, так что иногда в росписи найдется два, три образа Богородицы и несколько икон угодников; самое изображение вообще обращает на себя мало внимания, главным образом смотрят на оклады. Надо заметить, к чести общества, насущную потребность которого составляют и до сих пор росписи, что Божие милосердие остается неприкосновенной собственностию семейства, переходит из рода в род и продается только в крайних случаях поэтому при нередком обеднении богатых купеческих фамилий и при переходе их из дорого покупаемого звания в звание более дешевое, в мещанство, этот «сток резервуар всех

слабых сил, всех скудных и дурных соков сословий купеческого и крестьянского», часто встретишь дорогие образа среди самой бедной обстановки, на которые «бледная бедность» смотрит, как на последнюю надежду. Тогда лишь только, когда человек совершенно потеряется, сопьется с горя, когда вино станет большею потребностию, чем хлеб, какой-нибудь муж-забулдыга, ехавший венчаться четверкой, дерзнет святотатственною рукою унесть образ потихоньку от жены и… пропить его. Бог весть, почему у нас, начавши за здравие, кончат за упокой и почему в свадебных песнях нередко слышатся похоронные звуки; не потому ли, может статься, что каждый женящийся думает более всего о средствах жизни и менее всего знает, как прожить ее… Но обратимся к росписи. За Божием милосердием следует серебро: столовое, чайное — в старину самовары, умывальники, тазы, серебро, которое так еще недавно покоробило своею несостоятельностью; серебра, особенно у людей богатых, бывает очень много, и если принять в соображение, что и подарки на другой день свадьбы состоят большею частию также из серебра, то его набирается две, три горки донизу. Любовь к серебряным вещам составляет одну из характерных черт описываемого нами общества; в редком доме не найдешь пяти — десяти фунтов, а у зажиточных целые пуды.

Для полноты впечатления прилагаем полную роспись одного из самых добросовестных и лучших домов. Цены назначены только на предметы видные, образа не оценены, им назначен только вес; в выборе второстепенных вещей полагаются на общее согласие; денежное награждение назначено определенно, задней мысли нет.

Вот эта роспись:

«В НАЧАЛЕ БОЖИЕ МИЛОСЕРДИЕ

1) Образ Спасителя, в серебряной позлащенной ризе 84-й пробы, весу 1 фун. 32 зол.

2) Образ Божией матери, низанный жемчугом, жемчугу крупного 28 зерен, среднего 14 зол., мелкого 2 зол., в ризе весу 1 фун. 2 золот.

3) Образ Марии Египетской, в серебряной позлащенной ризе весу 1 фун. 48 зол.

4) Образ Святителей Московских — весу 1 фун. 40 зол.

5) Образ Гурия, Симона и Овивы — риза весу 1 ф. 30 зол.

6) Шесть разных маленьких образков, в серебряных ризах.

Да еще будут два образа от отца и матери крестных, оба в ризах серебряных.

7) Салоп чернобурый, покрытый бархатом, мех полагается в

2000 руб. сер., воротник 1000 р. с.

8) Второй салоп, крытый атласом, 1200 руб. сер.

9) Третий салоп, тоже атласный, 600 руб. сер.

10) Шубка ватная, с собольим воротником, 400 руб. сер.

11) Салоп будничный.

12) То же, для бани.

13) Серебро: две лампадки серебряные.

14) Три дюжины столовых серебряных ложек, 84 пр., ящих.

15) Две дюжины десертных.

16) Две дюжины чайных, вызолоченных.

17) Две дюжины то же, простых.

ВЕЩИ:

18) Бахрома бриллиантовая и брошка — 3000 р. с.

19) Серьги бриллиантовые — 1500 р. с.

20) Серьги вторые — 500 р. с.

21) Серьги третьи — 100 р. с.

22) Колец разных полагается на 500 р. с.

23) Два браслета бриллиантовые — 1000 р. с.

24) Разной мелочи на 300 р. с.

25) Платье бальное, газовое, шитое золотом, — 200 р. с.

26) Еще бальное, по выбору — ˆ 150 р. с.

27) Бархатное, цвет по выбору.

28) Двенадцать платьев разных материй.

29) Одно для визитов.

30) Десять платьев легких, новейших фасонов.

31) Десять платьев шерстяных, нелинючих.

32) Десять платьев подешевле.

33) Десять платьев ситцевых, нездешних.

34) Шесть дюжин сорочек голландского полотна.

35) Шесть дюжин сорочек ткацких.

36) То же мужских голландского полотна, две дюжины, груди вышитые.

37) То же мужских, ткацких.

38) Шесть дюжин необходимого мужского…

39) Три сорочки батистовых женских.

40) Одна сорочка1 мужская, шитая, для венца.

41) Двенадцать дюжин платков батистовых, шитых, женских.

42) Четыре дюжины простых.

43) Пять дюжин полотенец женских с кружевами.

44) Пять дюжин простых.

45) Три дюжины простых, для бани.

46) Шесть дюжин чулок женских.

47) То же мужских носков.

48) Постель, шитая по батисту.

49) Занавесь штофная к кровати.

50) Занавесь штофная к окнам.

51) Занавеси к кровати и окошкам, кисейные.

52) Кровать двуспальная, трюмо, кушетка, кресло, ширмы, киоты для Божьего милосердия, какие будет угодно, красного дерева или орехового.

53) Сундуки кованые, ковры бархатные.

54) Двадцать пар башмаков разных.

55) Двадцать пар ботинок разных.

56) Десять пар ботинок теплых.

57) Разная девичья работа, шитье и проч.,

58) Тазы медные для бани, и один таз большой, какой потребуется.

59) Два самовара…

Деньгами наличными двадцать пять тысяч рублей, деньги дадутся в девишник. Подарки на другой день свадьбы, как угодно с вашей стороны. Платья и салопы будут выбираться вместе с женихом, шиться отдадим на Кузнецкий мост. Споров и прекословий никаких не будет. Даем все с нашим удовольствием, в благословении Божием».

Нередко через десять лет после брака встретишь дюжины ложек, перевязанных свадебными лентами; так называемые сервизы не выходят из поставцев часто до того времени, пока, силою нужды, не перейдут они в лавки, разумеется, за гораздо меньшую цену против заплаченной, а все-таки общество это по какому-то инстинкту считает серебро — почти деньгами. Бог весть, может быть, этот инстинкт и верен в некоторой степени, а новое время начинает понемногу оправдывать понятия старого. Серебро составляет одну из важных частей росписи, на которую обращается по преимуществу внимание жениховой стороны, может быть, опять-таки вследствие вышеприведенного инстинкта… «Вещи» в собственном смысле слова — серьги, кольца, бриллианты — иногда следуют, иногда предшествуют серебру. Это тоже значительная часть прилагательного, и жених, хотя ему и не носить серег и не надевать на свою умную голову фермуара, не украшаться браслетами и колье, не раз со вниманием прочтет эту часть росписи; расчет тут есть: в случае нужды и в Воспитательный можно! За вещами следуют меха, вещь тоже ценная, хотя и не то, что серебро. Вещи и меха в иных росписях поражают своею ценностию: против многих из них нередко стоят цифры 2500 р. с, 3000, 4000. Цифры эти ставятся даже против самых незначительных вещей — будь это хоть подвязки на ластике в 75 коп., а их из росписи не выкинут:

считаться так считаться. Об остальных частях росписи мы не находим нужным распространяться, «это статья пустая» уже, и, по выражению почтеннейшего Ивана Павловича Яичницы, там пойдут «четыре больших пуховика и два малых, и шесть пар шелковых и шесть пар ситцевого платья, два ночных капота, белье, салфетки» — также меоель: кровать такого-то дерева, туалет, кушетки… «Ну, о разные лихие болести!» — подумает, а иногда и скажет дражайший родитель и примется за счеты… это мы несколько остановимся, чтобы разобрать совершенно естественное, хотя и совершенно безобразное явление.

Даже, как говорят предмет более деликатный; роспись представляет совершенно подробный счет, в линейках, с транспорта ми, с подлиневкой. Купец по врожденной привычке привык не верить счетам; он непременно что-нибудь скинет со счета, будь счет хоть верен, разверен, на роспись он смотрит как на счет, за который платит или сыном, или собственным спокойствием, или сам собою просмотреть и поверить такой счет — совершенно естественно, и рука сама протягивается к счетам. Как есть мастера поверять росписи, так есть мастера и составлять их. Иногда сумма прилагательного берется вместе с приданым. Нередко семейный человек, выдавая одну дочь имеет за собою еще три, четыре, что тут станешь делать? Женихи стали дорогой народ, на беду развелись эти, чтоб их… Женихи просят много, дела плохие, девки растут… так каждая тебе в глаза и смотрит. Ну, и принимаются при таких обстоятельствах мастерить роспись или, говоря о деньгах, стараются не коснуться, как они будут: чистоганом или векселями. Придет девиш-ник, и жениху, если он не упрется да не откажется ехать в церковь, и придется взять бумажки сроком года на два… Подобные-то проделки и сторожатся старшими, они и держат ухо востро, тем временем, когда птенцы их заранее созерцают будущее счастие, в котором главную роль играет спальня. Просмотрев роспись, послав жену взглянуть хоть украдкой на кое-что покрупнее из приданого и заметив, что в росписи еще «не больно напороно, хоть и надо скинуть процентов двадцать», решаются благословить — и между тем. как обе стороны заняты сборами и приготовлениями, новые сватушки, целуясь, милуясь да потчеваясь, выглядывают друг друга^ наводят справки, обнюхиваются. Приходит роковой день девишника, и между тем, как невеста переживает свою последнюю девственную ночь, когда пред ней в неясных образах мелькает ее будущность и так хочется, по большей части, плакать об этом будущем, — жених навостривает уши или уполномочивает другого получить. Настает роковая минута, и тут-то обнаруживаются все пружины, которыми до сих пор

двигалось дело. Жених или уполномоченный, очень редко отец потому что «не мое дело!», входят в комнату с отец или матерью невесты, и начинаются переговоры.

— Ну, что? — спрашивает в нетерпении отец приехавшего сына.

— Все, слава Богу, благополучно!

— Ну — слава Богу!

И православный крест осеняет усердно нежную отеческую грудь.

Торжественнее этой минуты редко еще можно встретить на свадьбах такого рода, пред ней все ничто. Не правда ли, что это редкая молодость, редкая чистота нравов?

Но иногда дело кончается не так идиллично, обнаруживаются разные условия, рассрочки и т. п., и в семье подымается буря, которая иногда долго не утихает, а иногда и навсегда разлучает два в несколько форменных визитов сжившихся сердца. Нередко буря бывает из пустяков, из какого-нибудь бархатного салопа, не оказавшегося против росписи, или из чего-нибудь подобного этому. Есть еще одна характеристическая черта, присущая более образованным слоям общества: класть на имя дочерей деньги на билеты и вручать их вместо денег. Эта мера преоригинальная: вручая, доверяя человеку дочь, боятся доверить деньги, как тут ясна задняя мысль подобного брака!

Подобные условия ведут к частым разрывам; еще на памяти у всех один такой разрыв. Какой бы он ни был, он кладет клеймо на девушку, и женихи бегают имеющих билеты. Защищать то или другое — избави Бог! Любопытны только факты.

По рассмотре описи и всех около нее вертящихся условий невольно пред нами подымаются какие-то странные, уродливые призраки: невеста как человек уходит как-то на дальний план; пред ней ползают разные чернобурые лисицы, соболя, горностаи, тут кучи серебра, белья, платья, куски материй, до которых бы никому не следовало касаться, на первом плане пачка денег. Невеста стоит совершенно безучастно, кругом ходят мужчины, смотрят на выставку, приценяются торгуются, потом заговаривают с женщиной — и поведут ее за собою — и почти никакого сопротивления! И это брак? Ну! Москва ну! Замоскворечье!

Наша церковь — положила два поста в неделю, Замоскворечье и все на него выдумало еще третий— понедельник. Уж мало ли, кажется, у нас уставных постов, да нет, везде где этот дух, где этим пахнет, есть еще свой пост для невест, не выходящих долго замуж, в честь Пятницы Прасковеи. Уж на что, кажется, строже поста без масла — а выдумало же

Замоскворечье распространить его даже на птицу и не пускать вместе петуха с курами в известные дни, чтобы не было на глазах соблазну Чего бы, кажется, для спасения души удобнее церковного устава — нет, там вам растолковывают, что и в мясоед-то можно есть только двукопытное и извергающее жвачку и что телятина грешна, потому что теленок кормится молоком; про зайца и не говори — сейчас отыщут в нем кошачью голову, а есть такие дни, что, пересматривая свадебный реестрик или подводя разные торговые сделки, как раз сведут всю трапезу на одно сочево. Есть, право, чему подивиться в этой стороне, хотя мы еще далеко не все знаем, что в ней творится; долго еще будут жить эти особенности русского мира, извращая, мучая, убивая до времени молодую жизнь, будут жить гораздо дольше, нежели оставшийся сиротою после смерти Ивана Яковлевича * его достойный преемник, знахарь и предсказатель Н. И. Мандри.

Иван Яковлевич умер 6 сентября, похоронен 11-го. На пятидневное непредание земле праха этого великого человека имело влияние кроме того, что его желали почествовать, и то, что право на место погребения оспоривал Черкизовский дьякон, по родственному чувству: предполагали было положить этот дорогой прах временно в Покровском монастыре и потом перевезти на родину — в Смоленскую губернию, но родственное чувство нашло себе сочувствие… И прах предан земле в селе Черкизове. В продолжение пяти дней его стояния отслужено более двухсот панихид; псалтырь читали монашенки, и от усердия некоторые дамы покойника беспрестанно обкладывали ватой и брали ее назад с чувством благоговения; вату эту даже продавали; овес играл такую же роль; цветы, которыми убран гроб, расхватаны в миг, некоторые изуверы, по уверениям многих, отгрызали даже щепки от гроба. Знаменитый покойник несен был до могилы на руках, в числе несущих были дамы (вероятно, по одним шляпкам), некоторые из них в глубоком трауре; особенно отличилась одна дворянка, на счет которой были и похороны; бабы провожали гроб воем и причитаниями; смысл их большею частию следующего содержания: «На кого ты нас, батюшка Иван Яковлеву, оставил, покинул сироти-ну-шек (это слово пелось и тянулось так тоном, что звенело в ушах), кто нас без тебя от всяких бед спасет, кто на ум-разум наставит, ба-тю-шка, а-а?» Рулады замечательные Многие ночевали около церкви. Могила выстлана камнем наподобие пещеры. Долгое время на могиле служили по двадцати раз в день. Село Черкизово приобрело известность.

Бросая последний, прощальный взгляд на Замоск-опечье, на эту оригинальную, далеко еще не вполне акомую нам сторону, мы

не можем высказать всего того что приходилось прочувствовать при набрасывании этих легких очерков… Бог весть почему, что при каком-нибудь странном, забавном факте, при живом, правдивом рассказе, одновременно и смеяться хочется и невольно сжимается сердце; не потому ли, что в большинстве этих особенностей лежат все-таки честные народные черты, обезображенные, изувеченные городом и теми мало еще ведомыми причинами, под которыми город у нас слагался и слагается?.. И одна ли беззащитность замоскворецкой женщины виновата в том, что она продается, как товар, и что даже роспись составляется в духе униженной покорности: «Как вам будет угодно, спорить и прекословить не будем». А эти простые, правдивые слова в конце почти каждой росписи: «Даем все с нашим удовольствием, при благословении Божием», не вздох ли они отца и матери по своем детище, над которым ставится глава, которое идет будто в кабалу? Оставя другие стороны жизни, все здесь собранное мы старались выставить вовсе не на посмешище (от этого упаси Бог!) — подробный разбор завлек бы нас слишком далеко; зажмурясь пред отношениями хозяина и приказчика, покрыв шапкой глаза пред портомойнею и еще не тронув наготы московской бедности, особенно зимою, скажем в заключение несколько слов об отпуске невесты и о некоторых обрядах свадьбы, удерживающихся и до сих пор в тиши: свадьба нередко освещает весь ход, весь склад жизни.

Отпуска все дожидаются в полном торжественном молчании, если и говорят, так шепотом; невеста остается в спальне с матерью, женщины плачут втихомолку- Является от жениха карета: входит шафер от него докладывает — все готово.

После этого выводят невесту, благословляют образом и отпускают- И каких примет не наблюдается! Когда одевают невесту ей подвязывают во многих местах и до сих пор мешочек, в который кладут и четверговую соль, кусочек хлеба, иголку, булавку, маковую головку, ладанку, уголек, плакун-траву, корень — петров крест. Что за суеверие, что за рецепт! Накануне и в самый день свадьбы невесту совсем замытарят: оба эти дня она говеет, в самый день свадьбы строжайший пост! Просфора да святая вода; накануне непременно всем домом в Кремль в Девичий монастырь, на кладбище, если невеста сирота или нет в живых кого-нибудь из родителей; некоторые возят на благословенье к высоким священным особам. Сколько боязни, сколько заботы о будущем счастии, а все-таки мирное, тихое, светлое семейное счастие так редко у нас… Как ни шумна бывает свадьба, как ни помогает этому вино и разные, частию уже неприличные обычаи: хоть бы, например, роль свахи, узелка и пр.

т. п., а все-таки между этим чадным шумом или между чинно-приличным ходом визитов, обыкновенных обедов, будто не спросясь, слышатся характерные народные песни, сложившиеся давным-давно и до сих пор не устаревшие. Вот несколько стихов на выдержку:

Ты хворай-ка, моя хозяюшка, побольше,
Ты умри-ка, моя хозяюшка, поскорее,
Отпусти ты меня, добра молодца, на волю!

Как чужая-то жена — лебедушка белая,
А моя шельма-жена — полынь, горькая трава.

Он чужую жену любит,
Своя стоит-плачет.

Четвертая заботушка — муж, удалая головушка;
Девчоночка-сиротинка звала его ночевать:
«Приди, приди, Ванюшка, ночуй ночку у меня!»
«Боюсь, боюсь, девушка, просплю долго у тебя».
«Не бойсь, не бойсь, Ванюшка, я на зорьке разбужу».

Этап. Значение его, как места, очень обширное; мы надеемся вернуться к нему в других статьях, а здесь скажем только, что несколько лет раскольники Рогожского кладбища кормили несчастных, как называет наш народ арестантов, на свой счет, и теперь им это воспрещено; теперь доброхотные датели посылают им каждый день выгона на раздачу деньги. Покровский монастырь поручает своим монахам размен билетов на медь…

З. S. Леденов в № 34 «Нашего времени» делает несколько поправок, касающихся Мещанского училища; главные из них: дети никакими грубыми работами не заняты, чай дается ежедневно, белье грязно только тогда, когда его сдают в прачечную. Сумма, выработанная воспитанницами, идет на их экипировку по их выходе и в награду классным дамам. В 1861 году совет Мещанского училища назначил выдать на приданое десяти воспитанницам по двести и трем — по триста руб. сер. факты очень утешительные — не верить им мы не имеем права. Но давно ли? Напрасно г-н Леденов обошел прочее, хотя бы приставников, и также не разуверил нас и в них. Мы писали со слов людей, бывших близкими к Мещанскому училищу; сообщенное г-м Леденовым — новость и для них и для нас. Чая там положительно не было, обращение с воспитанниками вызывало горькие жалобы родителей, неотпуск детей домой во время курса, кроме разве смерти отца и матери, всегда неприятно

действовал на нас. Признаемся — Мещанское училище ни своим составом, ни направлением образования не располагало к себе… Теперь — иное дело, но мы в ответе ему во всяком случае постараемся увериться, действительно ли в нем такая тишь, да гладь, да Божья благодать, которыми проникнуто о нем мнение г-на Леденова.

ЛЕФОРТОВСКАЯ ЧАСТЬ

Лефортовская часть принадлежит к числу самых обширных и населенных частей в Москве: в ней считается до 40 000 жителей, она разделена на 7 кварталов, в состав которых входит село Черкизово и деревня Богородское любимый приют москвичей в летнее время. Вместе с тем в ней же самое большое число и более значительных московских фабрик. Следовательно, часть эта имеет не только двойной, но, так сказать, тройной интерес: в ней городское сословие сталкивается с сельским, и между ними во множестве ютится самостоятельный класс — не городской житель и вместе с тем уже не селянин

В жизни Москвы вообще мало удобных удовлетворений даже первым потребностям жизни. Недостаток их осязателен еще и в самых, так сказать, просвещенных частях города; в некоторых же, отдаленных, как, например, в Лефортовской, это удовлетворение становится невыносимо тяжелым. Перечислим, прежде всего, эти недостатки, потом раскроем происходящие от них трудности — особенно в жизни класса недостаточного, который по дороговизне квартир в центральных частях города ютится большею частию по закоулкам и местам отдаленным, прилегающим к полю, к заставам, с еще памятным всем при них шлахбаумом и караулом.

В Лефортовской части нет ни одного бассейна чистой, здоровой воды; много улиц ее совсем не вымощены; эти грязные, непроходимые пространства занимают целые кварталы, как, например, 2-й квартал и большие части 1-го и 3-го; в ней нет ни одной аптеки, множество переулков совсем не освещены, наконец, нет ни одной воскресной школы. Этого пока довольно, чтобы заняться рассмотрением положения этой части; о недостатках ее в остальном, составляющем необходимую принадлежность каждого более или менее развитого человека, мы скажем в заключение.

Вода… Бог наградил Лефортовскую часть маленькою, узкою речонкой, слывущей у нас под именем Яузы; фабриканты превратили ее в разноцветную, вонючую лужу: пить из нее нет никакой возможности, особенно летом; если развитие фабричного дела пойдет crescendo, то она в скором времени будет способна породить заразу, и теперь уже немало способствует развитию ежегодно нас посещающей холеры…

Пить из нее, как мы сказали, нет возможности; обыватели принуждены ими довольствоваться колоде-зною водою, или, наконец, покупать воду у г. Крюкова, который, в свою очередь, берет колодезь на откуп у Приказа общественного призрения.

Крюкову каждый должен платить в год от 10 до 25 р. с, хотя не каждый из бедных людей в состоянии сделать это; а потому предоставляем судить, что и как принуждены пить люди недостаточные, у которых нет колодцев с чистою водою и нет средств купить себе здоровой воды*…

Вероятно, Приказ общественного призрения извлекает из этого откупа самый ничтожный доход. Почему же не отдать колодца в пользование жителям даром? Это, кажется, более бы соответствовало цели, для которой учреждены приказы.

Улицы… Грязь, которая бывает ежегодно весной и осенью на немощеных улицах Лефортовской части, превосходит всякое приличие. Обращаем внимание в этом отношении на Преображенское, замечательное по многим историческим воспоминаниям, а теперь особенно сильною мануфактурною промышленностию. Так называемая генеральная, или Большая Преображенская улица, соединяющая Преображенское чрез Покровский мост собственно с Москвою, большую часть этого времени не только не проходима, но даже и трудно проезжаема. Обставленная с одной стороны богатыми фабриками, а с другой — бедными лачугами и небольшими деревянными домиками, она в распутицу представляет подвижное болото, наполненное жидкой грязью с ямами и подводными возвышениями. Экипажу, и особенно бедному ваньке, которого чаще всякого другого закидывает сюда судьба или, скорее, недостаточность обывателей, жутко переехать это немалое пространство: его качает из стороны в сторону; лошадь то уходит по колена в жидкость, то подымается в то время, когда погружается экипаж. Еще любопытнее наблюдать обозы с товаром, которые в последнее время ездят чрез Сокольницкое поле, мучатся особенно много, пока доедут до мостовой, ведущей к Сокольникам; пешеходу тоже невесело про-лагать себе путь. Тротуаров на этих пространствах также нет. Нечего уж и говорить о прелестной картине весеннего и осеннего вечера в этих прекрасных местах: она, при господствующей системе освещения, восхитительна! Приходилось не раз проезжать мне их этою порою, припоминались мне, и сам не знаю почему, дальние кварталы Лондона, которыми у нас пугают воображение дам; прошли довольно ясно передо мной улицы, ведущие к многочисленным фабрикам, пивоварням и проч., — раем показались они мне пред этою трясиною. Поневоле извинишь не только грубость нашего фабричного класса, но и отсталость наших фабрикантов, когда возьмешь в соображение, что только асть зимы да знойное лето устанавливают у нас сред-тва сообщения даже в Москве; а в остальное время ˆклимат, и обычаи, и хозяйственное управление

создают непреодолимые препятствия и если не прерывают, все собщения, отодвигают по крайней пост На 10 верст и театр и книгу, и живую речь стороннего посетителя; семейных людей замыкают в ограниченный, неисходный круг семьи, бездомному фабричному предоставляют один кабак да грязнейшие в мире трактиры в утешение.

Призадумаешься и над непредвиденными расходами русской мануфактурной промышленности: она не только большую часть материала и вспомогательных продуктов получает из-за моря, но должна еще и готовое свое перевозить чуть не через целое море грязи и слякоти.

Есть слухи, что гг. Каулин и Залогин хотят проложить железную дорогу от своей фабрики до Николаевской дороги. Недурно бы, если б немалочисленные Преображенские фабриканты пособили с своей стороны правительству улучшить сообщения с отдаленною частию своей резиденции. Мы слышали, что у некоторых из них есть желание участвовать в установлении лучшего сообщения; хорошо, если б хозяйственное начальство Москвы вошло по этому предмету хотя в соглашение с ними и тем поощрило менее предприимчивых.

Народное здравие. В целой части, почти с 40-тысячным населением, нет ни одной аптеки, и самая ближайшая — Басманной части, на Разгуляе. Это, надо согласиться, очень крупное явление. Неужели Лефортовская часть пользуется таким вожделенным здравием, или для нее нет настолько надобности в медицинских пособиях, что аптека не может существовать? Близко зная положение некоторых из обывателей, мы совершенно уверены в противном, и нам снова придется набросать довольно мрачную картину. Можно утвердительно сказать, что несуществование аптеки на таком значительном расстоянии и в такой густонаселенной части — недостаток очень важный и не мелочный и что Лефортовская часть, даже при менее значительной доле приведенных нами условий, не может пользоваться добрым здоровьем; напротив, в ней едва ли не более, нежели в других частях, больных, бедных и беспомощных… Если полагают, что для рабочего народа достаточно аптек, существующих при фабриках, то это совершенно несправедливо: во-первых, уже потому, что этих аптек в настоящее время совсем не существует, а во-вторых, когда они существовали, то от них было очень мало пользы…

Лефортовская часть во многих отношениях представляет грустное зрелище: стоит только проехать ее в воскресный или праздничный день и можно уже приблизительно составить понятие о нравственности и развитии большинства ее населения.

Темная куча праздношатающегося народа, множество пьяных, дикие песни, беспрестанно отворяющиеся двери кабаков, вонь из трактиров и харчевен, разврат бань… и множество недорослтков, детей, проходящих рядом со взрослыми, втянувшимися в такую жизнь, наводят всякого в нашу светлую эпоху на темные мысли — и тут-то, где едва ли не на самом лучшем месте была бы воскресная школа, — нет ни одной!

Вот мерило расположения нашего купца и фабриканта к народу, руками которого он наживает себе состояние! Но виноваты ли они сами во всем, их ли одних все это дело? Насколько окружающее располагает их к совершенствованию?

Будем входить постепенно в ответ на этот вопрос. Откуда взялся русский фабрикант, где его происхождение, кто его родоначальник? Еще на глазах у нас, что большая часть наших фабрикантов вышли из фабричных, что происхождение фабричного — так называемый наш черный народ. Самые аристократические фабрикантские дома наши переживают второе, а много — третье колено от своего низкого происхождения; многие едва вступают во второе, и еще не редкие дают любоваться и в настоящее время своим родоначальником. На памяти еще многих из нашего промышленного сословия, как шестнадцать-семнадцать лет назад один, теперь значительный и деловой московский фабрикант приносил под полою кусок сработанного им люстрину, брал деньги, покупал на них материала и шел работать другой; еще не старые люди помнят или, по крайней мере, в детстве слыхали про деда, то про прадеда — то того, то другого из наших крупных деятелей, которые продавали или пироги, или яблоки, или дрова, или сено, а многие — и очень многие — из настоящих щеголей, батюшкиных сынков, разъезжающих теперь в каретах, бегали в своем детстве по Деревне, в одной ситцевой рубашке, и редкий из них В Москве не играл с простыми мальчишками в бабки. Но тут необходимо непременно остановиться сделать оговорку: наш купец, к его несчастию, стал заражаться духом аристократизма и начал обижаться в меру даже и тем, где нет и тени обиды; низкое происхождение свое, как это обыкновенно называют, он желает скрыть прежде всего и всегда замнет разговор, если даже с противоположным намерением напомнишь ему про отца или деда. Но пусть он успокоится на этот раз — все это приведено было не к бесчестью его, а к чести: в его низком происхождении мы видим его родственность с народом, его близость и знание этого народа, которые он, к сожалению, начинает терять в своем молодом поколении, от которого начинает отлынивать, из брата делается хозяином-господином и, наконец, доходит до того, что в

отношении фабриканта к фабричному замечается много черт, напоминающих недавно уничтоженное крепостное право.

Издавна составилось убеждение, что русский фабрикант в большинстве груб, мало знает дело, нехорошо обращается с народом — стоит к нему в неприязненных отношениях; эти убеждения хотя часто верны, но отношения не так черствы в действительности: злых между фабрикантами так же мало, как истинно добрых и благородных людей; но добро и зло, темные и светлые стороны фабричного быта так перепутались, в этот чан со здоровою водою натекло так много разных посторонних примесей — и мыльной воды и разных красок, что мы должны просить несколько времени и внимания, чтобы разобрать все это.

Фабрикант, и особенно русский фабрикант, начинает свою фабрикацию с небольшого: был он искусный ткач, сновальщик или красильщик, скопил денег малую толику, задумал делать дело сам или каким-либо образом потерял место; в обоих случаях отправляется он себе в деревню, приговаривает в ней несколько ткачей и направляет потом шаги или к местному фабриканту, если он есть в самом селе или неподалеку, или в матушку-Москву, к купцам; берет или покупает у того или другого материал, работает или из звания кустарника или мастерка вырастает до фабрикантша. В настоящее время подобные дорастания уже реже, но звание мелких фабрикантиков, несмотря на рядом с ними развившиеся большие мануфактуры и фабрики, живет во множестве и еще растет. Фабрикантик стоит в близком отношении со своим рабочим, а следовательно, и с народом, он нередко делит с ним и радость и горе: есть лишняя копейка — и выпьют вместе, нет — работник и подождет на хозяине. «Ничего, брат, ничего, с кем не бывает!» Нередко и едят они вместе, работник и с хозяйкой речь ведет, хозяин и хозяйка даже иногда и крестят у работника… но это до тех пор, пока хозяин не богат; как только он начинает богатеть, как только начнет становиться на ноги настоящего фабриканта, как вмешаются в их отношения разные форменные распоряжения; как только попала ему в руки и потом в мысли «книжка для рабочих», так он уже становится совсем иным и ему — и черт не брат; он сразу стряхивает с себя все прежние отношения и начинает величаться: я да я!., да знаешь ли, кто я?.. Малое образование ядра русских фабрикантов является значительным бедствием нашей мануфактурной промышленности; оно выказывает, во-первых, при всем прославлении русского здравого смысла и разной величины умов-самородков всю грубость нашего фабричного сословия, грубость, которая большею своею частию зависит от грубости фабриканта и, главное, от условий, имеющих на него влияние. Фабрикант,

только что выбравшийся из фабрикантика, долгое время живет, как солдат, на биваках; он ни один день не уверен, что завтра он может так же работать, как ныне: как раз забьют тревогу и заставят его подниматься со всем своим скарбом; изменения тарифа, день ото дня в разных местах более и более проглядывающая контрабанда не дают ему покоя ни днем ни ночью; большую часть своей жизни он проводит в ненормальном положении — тут разные подделки под его клеймо, там родной товар, сбываемый рублем за полтину за заграничный, на фабрике перепродажа рабочими хозяином выдуманного рисунка из одного желания сколотить на лишний полштоф водки; с одной стороны, подходящие сроки, — с другой, невысылка денег иногородними по документам, писанным по необходимости по предъявлению; ему каждый день, как говорится, и спится и видится, как бы более позагресть, как бы попрочнее поограбиться и, таким образом, достичь третьей степени своего звания — настоящего фабриканта, который в состоянии задавать уже тон делу и свысока аристократом смотрит не только на рабочего, но на Фабрикантика и на фабриканта. Период превращения фабрикантика в фабриканта носит, как мы сказать на себе более светлых черт; в продолжение его зяин живет с работником братски, особенно вначале; видя возможность своего превращения, фабрикантик, не имея еще в своих руках средств вымогательства, старается влезть в душу работника и приучить его к себе лаской.

Фабрикант действует уже иначе; он стыдится быть братом работника и становится его хозяином в полном значении этого слова; он берет его в руки и заставляет и пищать, и кричать, и повертываться, как ему взбредет в голову; постоянный долг рабочего за конторою дает к этому самые удобные средства фабриканту — это своего рода крепостное право, это самые темные стороны нашего фабричного быта, из которого работнику почти нет дорог для выхода. Г. Голицынский в статьях своих «Очерки фабричного быта», помещенных в «Развлечении», хотя в юмористической форме, но довольно метко коснулся этого быта, о котором мы говорим в настоящую минуту, — в его рассказах анекдотической формы много правды.

В мануфактуре фабрикант облекается в броню капиталиста, в мантию значительного фабриканта; он раскидывает уже побочные отделения своего, дела по разным местам, ставит на них уполномоченных или просто приказчиков, сам же сосредоточивает свое дело в главном или, что чаще, считает уже лишним самому заниматься делом и поручает его другим во всех своих частях, а сам только надсматривает. Приказчик — особенно

русский приказчик — трудною, мученическою школою своей жизни влезший в доверенность, сам смотрит в хозяева; людей гуманных между ними меньше всего — и потому работнику и на мануфактуре не легче; иногда только сложные порядки ложатся на него еще большим гнетом, за самым небольшим исключением больших фабрик, где уже пахнет действительно делом и виден деловой такт; но есть один любопытный факт, что русский работник, особенно еще не обжившийся, неохотно идет на большую фабрику.

Сказав в нескольких словах про основания отношений между работником и фабрикантом в главные эпохи развития, постараемся теперь вглядеться в главные черты быта, обуславливаемого этими основаниями и, кроме того, узаконенными правилами, которые приложены к каждой расчетной тетради, выдаваемой работнику и вносящей в его жизнь новые элементы. Просим внимания пробежать эти правила, которые помещаем в выноске, они делятся на правила общие и особенные: общие — это ссылки на законы, и мы коснемся их по мере надобности, особые же, по-видимому, написаны на случай, и потому мы их выписываем сполна.

а) В случае надобности рабочих в деньгах для уплаты повинностей или оброка или для удовлетворения нужд домашних хозяин может выдавать им оных вперед не более 10 р. с. под опасением потери, излишней против этой суммы выданных.

б) На работу фабричные и мастеровые обоего пола и всякого возраста должны явиться не позже 15 минут после звонка, под опасением записки в расчетной тетради взыскания с них той платы, которая причитается им за целый рабочий день, а в случае прогула целого дня записывается в этой расчетной тетради взыскание, равняющееся цене трех рабочих дней. При этом вменяется в непременную обязанность хозяев производить таковую записку в расчетной тетради немедленно после явки рабочего.

в) Без дозволительной записки хозяина или фабричной конторы фабричные в рабочие дни не должны отлучаться из заведения или от работ, под опасением взыскания, в предыдущей статье (лит. б) определенного.

г) В праздничные дни (праздничными днями считаются: каждое воскресенье, двунадесятые праздники и другие дни, по условию с хозяином. — Примеч. авт.) дозволяется фабричным и мастеровым, взрослым обоего пола, отлучаться с фабрики; но если они помещаются квартирою в самых зданиях оной, то должны возвращаться: летом — не позже 10, а зимою — не позже 8 часов вечера под опасением записки с них в этой тетради

взыскания в пользу бедных и больных фабричных и рабочих, равняющегося той плате, которая причитается им за целый рабочий день.

д) Несовершеннолетние мальчики и девочки, на фабрике находящиеся и помещенные в зданиях ее, могут в праздничные дни отлучаться с фабрики не иначе, как по дополнительным запискам хозяина или конторы, и должны возвращаться утром не позже времени обеда, а вечером, как летом, так и зимою, не позже 6 часов. В противном случае они подвергаются взысканию 10 коп. сер. в пользу бедных, на фабрике находящихся.

е) Живущие в зданиях фабрики рабочие и мастеровые обоего пола без дозволения хозяина или конторы не должны принимать к себе из посторонних, знакомых и родных ни для ночлега, ни на какое время, которое превосходит краткость обыкновенного свидания, подвергаясь в противном случае записке в сей расчетной тетради взыскания, равняющегося той плате, которая причитается им за три рабочих дня.

ж) Сему же взысканию подлежат те из рабочих обоего пола, У коих окажется хранение чужого имущества, денег и проч.

з) Не позволяется фабричным и мастеровым ходить со свечою ни Заведения и в опасных местах без фонаря, курить табак и сигары ни во время работы ни в застольных помещениях, ни на дворе, равно заводить кулачные бои и всякого рода вредные для других игры и шутки в орлянку и в карты на деньги и на вещи, наконец приносить в заведение вино и употреблять бранные и некоторые слова под опасением взыскания в пользу доказчика 50 коп. сер. и наказания исправительного со стороны полиции.

и) Рабочие и мастеровые обоего пола и всякого возраста должны ходить по воскресеньям и праздничным дням в церковь. Виновный в неисполнении сего подвергается взысканию в пользу бедных и больных фабрики и в пользу доказчика 10 коп. сер.

к) За недостаток в выданных фабричным для работы на вес материалах, который окажется при сдаче им в контору готовых товаров (за исключением угара, свойственного фабрикации), они подвергаются вычету из задельной платы стоимости недостатка или же заработке оной.

л) Ответственности по усмотрению местного начальства подвергаются те рабочие, которые передадут другому фабриканту или постороннему лицу какой-либо секрет, рисунок или способ производства, составляющие собственность хозяина.

м) В случае возникновения жалобы со стороны хозяина на порчу мастеровыми и рабочими изделий принимается в соображение разбирателями следующее:

1) если порча произошла частию от небрежения фабричного,

частию же от недосмотра этой порчи при самом начале приказчиком или мастером, заведывающим фабрикою, то взыскание в пользу хозяина определяется с того и другого соразмерно их вине, заработке фабричного и жалованью, получаемому приказчиком, который с самого начала порчи мог устранить фабричного от этой работы;

2) если хозяин сам заведывает фабрикою и от его собственного недосмотра произошла порча целого куска изделия, то с фабричного взыскивается не за целый кусок попорченного изделия, а за то только количество аршин, которое, по усмотрению разбирателей, фабричный мог сработать прежде, чем хозяин в состоянии был досмотреть порчу и остановить работу;

3) если порча произошла не от небрежности ткача, а от низкого достоинства или негодности отпускаемых ему материалов, и ткач или рабочий заблаговременно заявил об этом фабричной конторе, то ответственность падает прямо на хозяина, и тогда ткач или рабочий не подлежит никакому взысканию.

н) Против записываемого предварительно в этой тетради взыскания за порчу изделий фабричный имеет право жаловаться местной полиции в течение одной недели, дабы разбиратели могли поверить справедливость жалобы осмотром самого изделия. По миновании же недели никакая жалоба не принимается.

о) При получении из конторы причитающейся им по расчетным тетрадям задельной или месячной платы фабричные и мастеровые обоего пола и всякого возраста должны отдаваемые им в руки деньги считать и поверять в то же время свой счет. Претензии на неверность выдач не признаются справедливыми, если фабричные являются с ними в контору по выходе из оной и после уноса с собою полученных денег.

п) Отпускаемые от хозяина харчи должны быть свежие, хорошего качества и вообще годные к употреблению. В противном случае фабричные и мастеровые имеют право принести жалобу местному начальству, которое подвергает хозяина ответственности по своему усмотрению.

За этим следует расчетный лист, в котором, между прочим, есть рубрика: «Условия найма». Под этою рубрикою фабрикант собственноручно или рукою приказчика вписывает свои правила — по большей части: сколько он дает угара на основу? сколько принимает рвани; иногда же приходится читать, что задельной работе цена получается по прошествии договоренного срока и по сдаче в контору вверенного материала, или — за уборку стана и жаккардовой машины и за прогул контора не платит, и т. п. — нередко совершенно противное правилам.

На первом листке книжки, на оборотной стороне напечатано:

Срок паспорта.

Срок найма.

Срок адресного билета.

На чьих харчах.

И потом:

«Если рабочий на своих харчах, но получает оные в застольной фабриканта, то сколько полагается за харчи, а именно…»

Следуют имена 12 месяцев, начиная с мая, против которых по большей части имена не пишутся.

Наконец, на чей счет уборка стана (хотя она постоянно на счет ткача) и

«Поручительство» — тоже совершенно лишнее.

Не чувствуется ли даже привыкшему к формальностям человеку, что все это сложно, запутано, сбито и во многом противоречит одно другому, особенно, если прибавить сюда «Правила общие», при каждом из которых ссылка на разные тома Полного собрания законов и на их страницы и на Уложение о наказаниях… Если таково человеку, привыкшему к формальностям, то каково же мужику-фабричному, особенно еще не искусившемуся в новой для него жизни или даже хотя и знакомому с ней, но безграмотному, который, между прочим, удержал в памяти некоторые правила, хотя и мало понял их. Сумбур выходит страшный!

Постараемся свести главные основания правил и доказать, во-первых, вносимый ими раздор фабричного с фабрикантом и фабричных между собою; во-вторых, противоречия их с условиями найма и некоторые несообразности, от которых ни фабричному, ни фабриканту ни тепло ни холодно и где нередко все ухищрения фабриканта, основанием которых служат все-таки правила, разбиваются в пух и прах о здравый смысл русского рабочего, который если станет на своем, так уж станет крепко. Правила можно разделить на две половины — одна касается образа жизни рабочего на фабрике, даже, некоторым образом, нравственности; другая относится к его работе и, следовательно, к положению его в отношении хозяина.

Просмотрим основания того и другого.

Во-первых, правило под буквою а) относится ко второй категории, следовательно, должно начать с б).

На работу должно являться не позже 15 минут после звонка, за опоздание — штраф суточной задель-ной платы; за прогул дня — плата трех дней. Все праздничные дни дозволяется фабричным отлучаться; живущие на фабрике должны быть дома летом не

позже десяти, зимой — восьми часов; за нарушение — штраф платы рабочего дня. Несовершеннолетние обоего пола могут отлучаться не иначе, как по запискам хозяина или конторы — возврат в 6 часов, за нарушение взыскание 10 коп. Фабричный не может принять к себе ни родных, ни знакомых ни для ночлега, ни на большее время обыкновенного свидания — за нарушения штраф платы трех рабочих дней. Таковой же — за хранение чужого имущества. Запрет на хождение со свечою, на курение табака и сигар, даже и в застольных помещениях, на кулачные бои, на игры и шутки, на орлянку, карты, на вино в стенах фабрики, на бранные и неприличные слова… доказчику — 50 коп. Должны рабочие ходить в церковь по воскресным и праздничным дням. Доказчику в неисполнении 10 коп.

Тут конец устава и начало другой половины. Помянув слово устав, мы обращаем на него внимание; действительно, большая часть выписанных нами правил скорее походит на монастырский устав, чем на правила для жизни фабричного, рабочего человека, да еще русского, родившегося в деревне, без ограды и ворот на замке, среди полей и леса. Каково покориться здоровому, свежему парню лет в двадцать, каково коренастому мужику, привыкшему замечать время разве только по солнцу, когда ему подставят под нос правило — в пятнадцать минут и положат искус и чарки не выпить после работы, и не курнуть на глазах у всех, и не пошутить, и не поиграть, заставят быть докладчиком, с соблазном получить за это плату, не принимать к себе родителей на сколько душе угодно и не скоротать ночку-другую с законною женою. Мы знаем, позволь все это, будет много злоупотреблений; курить действительно нельзя позволить: народ еще не привык обращаться с трубкой; курить нельзя не только на фабрике, но и в застольной, но зачем же делать застольную чем-то вроде монашеской трапезы? Почему не позволить рабочему выпить чарку вина, обложа лишнее употребление строгим штрафом или, скорее, поруча надзор за этим — и, разумеется, только на первое время — кому-нибудь из людей благонадежных. Не оттого ли и пьет так много русский фабричный, как доберется до вина, что ему запрещают выпить на глазах мира? Все запрещения, сколько мы заметили, особенно запрещения под штрафом, вызывают только сильнейшую степень развития того или другого запрещенного плода; сколько раз случалось нам видеть играющую в орлянку где-нибудь на лугу кучу фабричного люда, который, завидев хозяина или главного приказчика, бежал куда-нибудь спрятаться и опять собирался в трусливый кружок, выждав их проход; смеем спросить, какое чувство зарождается тут между грубым работником и — как это есть по большей части

малоразвитым фабрикантом? С одной стороны страх, с другой — подозрение; предоставляем Удить много ли хорошего выйдет из того, если эти чувства, чрез частое повторение, усвоятся тем и другим и будут встречаться кроме приватных отношений на работе? К чему все эти ограничения свободной воли работника? На деле они ни к чему более не ведут, как к лжеумствованию лиц, уполномоченных хозяином, потому что ему самому заниматься подобными мелочами некогда: в праздник даже самому рьяному захочется отдохнуть; хозяевами же в это время становятся приказчики, которые при бедных окладах не прочь и поживиться от рабочего и, отдежурив свое время как дневальные, на вечер и на ночь уступают свои права приворотному сторожу, который в случае сопротивления не побрезгует и ролью доказчика.

Прежде всего правила, которыми руководствуются в настоящее время, слишком сложны для фабричного: поняв некоторые, по (большею частию) безграмотности со слов других, он боится остальных, которых не возьмет в толк; начальствующий тон заставляет его лукавить; раскусив, чем пахнет расчетный лист, он начинает и побаиваться и не уважать хозяина и смотреть на него, как на что-то вроде станового; такие отношения ведут прямо к ущербу фабриканта, потому что русский работник только и работает и скоро и хорошо, когда у него развязаны руки… И без того все уже работающее, все, живущее трудом, у нас так запугано, что при более или менее сильном проявлении хотя бы, например, хозяйской власти, у человека дрожат, опускаются руки: он боится потерять последние средства к жизни, он терпит и работает (предоставляем судить, спора ли работа под вечным страхом); руки у русского рабочего и вообще у всего работающего подымаются только тогда, когда он выходит из себя. Нам не раз случалось видеть, как сосланный за какую-нибудь, чаще всего пустую провинность, фабричный прежде плакал, стоя со своими пожитками у ворот недавней его кормилицы — фабрики, потом шел пить и потом уже буянил и попадался в полицию. Один недавний пример убедил нас, до чего застращено все служащее и особенно по русской промышленности, если оно не имеет другой крайности — не нахально и не дерзко. При одной фабрике в числе других служащих был старый старик, в былое время деятельный помощник прежнего хозяина, воротила, как это обыкновенно называется, потом немного ослабший человек; лишившись места и проходив несколько времени без занятия, он определился в должность дозорного, или обхожего, на фабрике, вся обязанность которого — несколько раз в ночь обойти фабрику, взглянуть на сторожей и вообще на весь ночной порядок; день, разумеется, ему также не давали даром есть хлеб,

и работа находилась постоянно. Раз как-то середь дня фабрикант заметил, что он выпивши; старик, как на беду, в это время делался говорливее — его сейчас потребовали пред светлые очи; светлые очи нашумели, накричали, обругали старика и, отставив от должности, потребовали на другой день к расчету; старик не был пьян, он, что называется, только хлебнул, хмель с испуга у него весь вылетел из головы; несколько раз, совсем уже трезвый, он приходил в тот же день просить позволения стать ночью к своей должности — нет! Надо было видеть, что сталось с ним в одну ночь: он похудел, пожелтел, опустился, трясся весь, когда поутру явился к расчету; по обыкновению, ему ничего не пришлось, полушубок и платье взяла артель за харчи, иди хоть в одной рубашке — иди! Ни сострадания, ни жалости! Горе свалило старика; приказчики и служащие несколько раз обращались к хозяину с просьбою оставить его; наконец, промучив четыре дня человека, он умилостивился, и то тогда, когда служащие взяли его на поруки. Это пример самый свежий — они не редки, есть немало и погрубее; предоставляем судить о деликатности и развитости чувств большей части заведывающих и хозяев наших фабрик. До чего доведет оно? Не утомляем более читателя разбором первой половины устава; ясно, чего недостает ему, чтоб быть человечным; обратимся ко второй — к отношению работника к хозяину по работе.

Пересмотрим прежде его основания в сокращенном виде: а) В нужде (оброк, домашние беды и пр.) хозяин может выдать рабочему вперед только десять рублей серебром, под опасением потери излишнего… к) За недостаток материала, кроме угара, свойственного фабрикации, работник подвергается вычету, л) За передачу секрета, рисунков или способа производства работник подвергается взысканию по усмотрению местного начальства… Из спора о порче товара работником возникает три правила: 1) за порчу, происшедшую частию от фабричного, частию от приказчика, отвечают тот и другой по размеру жалованья и заработке; 2) если виноват хозяин, то работник отвечает до тех пор, пока хозяин увидит свою вину (?!); 3) работник не отвечает только тогда, когда материал не годен и ког-оа он об этом заявит…

Мы останавливаемся на этом, предоставляя любопытным прочее просмотреть в приложенных правилах. каково звучит это ограничение выдачи вперед десятью рублями — сколько в нем острастки даже и для человеколюбивого фабриканта, не говоря уже о том, который на это правило обопрется, как на каменную гору, хотя бы деньги рабочему были нужны дозарезу! К чему ограничение того, что может ограничиться свободным договором

и быть чрез него законно! Усмотрения местного начальства в таких частных делах, каково, например, передача рабочим другому фабриканту рисунков, секрета или способа производства, имеет на деле то последствие, что действительная передача того, другого или третьего — дело самое обыкновенное и имеет основанием то, что тут круговая порука; беспатентное производство и открытый, часто в подрыв изобретателю, метод ведения дела довольно ясно намекают, чего не достает нашей фабрикации; рабочий тут — только руки, которыми загребают жар… Три правила, выходящие из спора о порче материала, не требуют никакого объяснения: так они оригинальны, особенно второе…

Из представленных нами отношений открывается именно то, что называется «фабричным бытом», — этот бездомовый, бивуачный, кочевой быт, в котором не видно не только удобств жизни, но даже и малого подобия их. Черты сельского житья приносятся поселянами-рабочими и на фабрику — тот же дырявый овчинный тулуп является одеялом; тот же мешок с рубахами, кафтаном и проч. кладется в головы, но обстановка совершенно изменяется: не родной уже избой пахнет, не в сельской здоровой обстановке спит весной и летом на фабрике работник. Вы видите сотни, тысячи рабочих, видите немалое число детей, женщин, девочек, девок… А место, где бы удобно было отдохнуть после тяжелого трудового дня, вы редко увидите.

На некоторых фабриках человек-хозяин еще устраивает так называемые нары, нечто вроде полатей или навесов над станами, и за это доброе слово хозяину! — потому что в настоящем положении возможность опрятной кровати для фабричного — вещь весьма забавная, и над этою потребностью нахохотались бы вдоволь и хозяин и работник… Вероятно, многим случалось видеть нары, и многие знают, что это такое! Мы не раз подходили к ним, когда от них еще пахло лесом, и потом, чрез какой-нибудь месяц, их уже было трудно узнать: фабрика коптила их, покрывала сажей, народ пропитывал своим запахом, загаживал; заглянуть в их внутреннее содержание без преувеличения было страшно — тут уже всякий наиблагороднейший фабрикант может и имеет право умыть руки: ввести опрятность в фабричный быт при настоящем положении рабочего нет никакой возможности, «тут радикальные потребны средства!».

Бездомный, бесхозяйственный быт, близость города и всех его соблазнов производят в нем такую путаницу, что мы не берем на себя смелости представить сколько-нибудь подробный, характерный очерк, а по многим обстоятельствам должны довольствоваться только общими чертами… У фабричного два

перелома в его жизни: первый, когда к нему удобно прилагается пословица — сколько волка ни корми, он все в лес смотрит; второй, когда город собьет его с толку и деревня начнет быть для него горче редьки, — впрочем, есть натуры, составляющие исключения, которые ежегодною побывкой к Святой и на рабочую пору умиротворяют как-то до самых старых лет деревней — быт города, городом — деревню; но редкий и из этих исключений не сбивался с так называемого панталыку. В первом периоде фабричный — еще малоопытный работник и еще боится фабричного быта: он в нем еще не обтерся; во втором он уже более искусный работник и уже ценит себя; дети, сызмальства приучающиеся к фабричному делу, не имеют первого периода, они прямо входят в фабричный быт и скоро привыкают к нему.

Теперь на очереди назвать некоторые из не названных еще главных черт этого быта на больших фабриках.

Удобные помещения, как видно, очень редки; доброе и признательное слово говорится до сих пор заботливому хозяину из-за нары; харч не везде удовлетворителен — забота фабриканта в этом отношении, за немногими и тем еще более светлыми исключениями, вообще не к пользе работника; значительное множество постных дней (с лишком двести сорок в году) делает так называемый стол еще скуднее, особенно для рабочего человека; выручает, главным образом, мучнистое — хлеб и каша; грамотность самая незначительная; школы, столь нередкие в былое и еще недавнее время, теперь реже; близких воскресных школ, как мы уже говорили прежде, в этой части нет, а рабочих в одной Лефортовской части считается до 4000 человек! Нравственность в фабричных большею частию, как говорится, в большом упадке; да иначе оно и быть не может: что же и остается бездомному, одинокому работнику, безграмотному, отделенному от мира разобранным нами уставом, что остается ему в предписанном, строгом чине жизни, как не кабак в свободное время — и если притом в кабаке он найдет не одно вино, а все услады жизни?

Упадок нравственности не в одних взрослых и возмужалых, но и в недорослях; на фабрике сплошь и рядом встретите мальчика тринадцати-пятнадцати лет, для которого уже ничего нет неиспытанного, а напротив, много заповедного. Получив заработанную плату, он бережет деньги до случая, и уже не на одни пряники; девочки-однолетки тоже уже… — сердце не камень, — да и не мудрено: что удержит их? Есть разве надзор за ними, забота, пример хороший в глазах? И отец и мать в фабричном быте, особенно если тот и другая живут в разных местах, не могут быть для них хорошим примером, а за надзор

нельзя же считать какого-нибудь первого встречного отставного солдата, который только выколачивает из них последнюю копейку и последние зародыши человеческого достоинства. Перемешанные со взрослыми, с пьяными, без игр — поэзии каждого детства, толпясь где-нибудь около Покровского моста, около бань, харчевен, кабаков, слушая и понимая все, что говорится и делается кругом их, мудрено ли, что они очень рано падают и редко потом встают; мудрено ли, что под ними во всю жизнь не отвердевают ноги?

Барон А. К. Мейендорф во время своего председательства в Московском мануфактурном совете обратил немало внимания на быт фабричных; им введены даже некоторые улучшения: при нем на двух-трех фабриках устроены школы, где мальчики, опрятно одетые, обучались закону Божию, чтению, арифметике, письму; устроены особые спальни, отдельно для мужчин и отдельно для женщин — реформы входили в быт постепенно и обещали много хорошего впереди… После него все это рухнуло; в прежде бывших школах гуляет теперь челнок или свалена разная дрянь. Летом, когда большая часть рабочих схлынивает на полевые работы, быт этот принимает более светлые краски: фабрика становится просторнее, вечер праздника напопинает деревню: где-нибудь в стороне сплетется хоровод, хотя он принимает уже совершенно другой характер, кружась не на глазах мира; и ночь проносится легче и здоровее под открытым небом; только разве правила — быть в десять часов дома или заплатить за право попраздновать подолее — нагоняет раздумье на работника… осень же и зима накладывают резкие и темные тона на этот быт.

Особенно ярко освещают быт этот праздники: в них все, что скапливается работником в продолжение недели, все, что нарастает на сердце, все это выходит наружу и выходит, разумеется, излишествами всякого рода, в которых вино стоит на первом месте и ведет за собою другие… Да опять-таки, иначе и быть не может: как распорядиться свободой человеку, не имеющему каждый день этой свободы, не привыкшему к ней? По безграмотности у нас все темно, по стеснениям всякого рода — завлекательно; редко видимое им вино при одном взгляде кипятит кровь, монастырский устав рисует каждую женщину в привлекательном виде… Нам случалось не раз в Лондоне видеть вечерний чай слуг в гостиницах (которые там, между прочим, не зовутся слугами, а собственно waitei-'ами, т. е. дежурными): русского невольно поражает, во-первых, чистота обстановки, а потом свобода обращения: мужчины и женщины помещаются вместе, чайник переходит из рук в руки, разговор громкий, живой, нисколько не стесняющийся близостью хозяев, — иногда

песня, и особенно если это дело в субботу, так она поется и очень громко — и хозяин и гости — ничего! И это в одной из лучших гостиниц. И так от мала до велика, работник бывает свободен от дела, и он себе хозяин; он не боится пожить, повеселиться — работа кончена, и свободное время — его собственность

В недавно изданном полном и многостороннем труде г-на А. Корсака «О формах промышленности вообще и о значении домашнего производства в Западной Европе и России» можно видеть много правдивых параллелей и ясных выводов этого быта на Западе; что касается последней, то какой еще простор для более успешного производства, сколько задатков для лучшего состояния работников и — сколько стачек со стороны денежных людей и задержек, обнаруживающих незнание условий нашей промышленности извне… В труде этом разобрано, большею частию, положение нашей домашней, так называемой кустарной промышленности; мы, елико возможно, затрагиваем уже собственно фабричный быт на большой фабрике в городе и берем именно те черты его, которые показываются мелочными и принимаются за — ничего не стоящие, и, по мнению большинства фабрикантов, не имеют никакого отношения к работе — мы, напротив того, думаем, что все это не пустяки и немало влияет на состояние нашей так называемой фабрикации.

Не чувствует ли сам фабрикант, как еще тяжел ход его дела, как еще во многих местах колесо, пущенное им, часто с большими усилиями, задевает, цепляется; не чувствует ли он, что все дело надо держать в руках — ив сильных руках, что надо иногда бить наудалую и налегать всей силой груди, чтобы двигать упрямый механизм; имея фабрику, и особенно большую фабрику, так и чувствуется, что имеешь дело с грубой, дикой силой, которая того и гляди разобьет…

Безграмотность работника как следствие его грубости, неопределенное, пугающее на каждом шагу отношение его к хозяину, трудность разбирательства, уже вызвавшая новое учреждение; одним словом, все крупные и мелкие черты — до самых ничтожных — этого быта, где все друг с другом связано, имеют на это самое значительное влияние. Фабриканты скупятся на школы и теряют свой покой; они считают учтивость с рабочим роскошью и встречают всюду грубость. Взгляните на одну выдачу денег на фабрике, и вы увидите, сколько самых мелких, невыносимо раздражающих отношений скрывается между рабочим и хозяином, и виновата в этом более всего безграмотность, тупость работника, при всем прославлении его здравого смысла… У нас еще до сих пор живет мысль, что грамотность вредна простому народу; советовали бы заглянуть

господам с такими убеждениями на фабрики и посмотреть, сколько там вреда от одной безграмотности! Недавно нам пришлось слышать один достоверный факт, что грамотные солдаты (не помним, какого полка) дали между собою обещание оставить гнусную народную брань. Не видно ли и в этом отношении, как действует на народ грамотность, не подействует ли даже и это одно на нравственность фабричного и на улучшение его быта?

Одно Лефортово может дать на это неленивому наблюдателю подробный и многосторонний ответ.

ПАРК И СОКОЛЬНИКИ

— Где ты был вчера? — спросил высокий изжелта-бледный блондин со стеклышком в одном глазу, одетый во всем английском — в широких брюках, широком плаще и узкой с маленькими полями шляпе, другого молодого человека, с окладистою русою бородой, торчащей обширным веером, в короткой английской жакетке, широких полосатых брюках и с коротенькой тросточкой.

— В Сокольниках, — отвечал последний.

— Много было народу?

— Почти никого — одно купечество…

Мы невольно остановились при этой фразе и оглянули ответившего с ног до головы. Останавливаемся на ней и теперь… Почти никого — одно купечество!.. Это замечательная фраза: она характеризует многое в наше время… Она родилась в Парке, на углу против театра, где в первой половине мая любит подышать чистым воздухом наша аристократия, где она любуется богатыми экипажами и откормленными лошадьми, носящими из конца в конец ее знакомых и родственников; фраза высказана молодым человеком, по всем приметам львом, аристократом, выслушана она без малейшего замечания таким же львом и аристократом; кругом было много почтенных и дряхлых особ, приехавших из Английского помочь своему пищеварению майским воздухом; она не вызвала в этом кружке ни насмешек, ни порицания, ни малейшей заметки… Нам же она показалась интересною, и мы ставим ее во главе нашей характеристики Парка и Сокольников.

В Парке спрашивают про Сокольники:

— Много было народу?

Отвечают:

— Почти никого — одно купечество. В Сокольниках спрашивают про Парк:

— Весело было? Отвечают:

— Скучно… здесь лучше, там мало своей братьи — все дворяне.

Дворяне любят Парк, купцы Сокольники; черного народа почти не видно в Парке; в Сокольниках его — гибель; дворянин — редкий гость, и ему будет скучно в Сокольниках, купец не знает, куда деть руки и ноги, когда попадет в аристократический кружок в Парке...

Следовательно, Сокольники и Парк стоят того, чтобы обратить на них внимание, уже не как места прогулки, а как места характеристики двух слоев общества.

Парк, по общему голосу, место приличное; он образовался искусственно, в нем не одна природа, и нет ее полного, могучего обаяния; дорожки его не протоптались, а устроены, обложены дерном, огорожены выкрашенным деревом, деревья размещены купами, но купы эти не на большом пространстве и не могут назваться рощею, зелени много, но зелень не массою, зелень разорвана, и между нею ни тени, ни прохлады, ни присесть негде под деревом, ни прилечь некуда, где-нибудь в тени... Русский человек по природе своей не любит искусственности, ему тесно, мало места в ограниченно-очерченном саду, ему всего неприятнее забор за кустами зелени; он, напротив, любит лес, рощу, поле, чтобы все перемешивалось, скрещалось и чтобы нигде не видно было конца; он любит дать простор и волю взгляду, и если выедет из города, так подавай ему деревню.

Парк не удовлетворяет простого русского человека: он не любит погулять так, чтобы травы не измять, чтобы не прилечь к матери сырой земле, чтобы не попить чайку под деревом, в виду бесконечной рощи. Простому мужичку странно как-то усесться на лавочку, в виду которой гуляют баре, ему жестко на этой лавочке, не по себе, и он не ходит гулять в Парк и называет провести время там — проживаться...

Все, что близко к народу и вышло из него,— мещанин-ремесленник, большая часть купечества не любят Парк; все, что далеко от народа и уже стремится в противоположную сторону, предпочитает Парк Сокольникам, разумеется, не принимая при этом немалых исключений. Парк — место приличное и уже имеет свою историю; дачи его в наше время по большей части пусты, и то и дело до самого конца лета попадаются надписи: отдается да продается... Но если кто скажет, что в Парке живут мало или гуляют мало, тот очень ошибется: потребности общества идут своим путем, не обращая внимания на всевозможные теории, расположение или нерасположение. Между тем как пустеют год от года и вместе с дедушкой воксалом, дряхлеют дачи Парка, год же от года они вновь строятся и растут, как грибы, в превосходной березовой роще, соединяющей Парк с Петровским-Разумовским, и, стоя отдельно, они примыкают к Парку как место жительства к месту прогулки; это будто отростки старого корня парковских дач, который пробежал несколько пространства под землею и показался на Божий свет там, где ему прохладнее, и лучше, и удобнее. Рушится воксал, строится Сакс; театр, пустевший несколько лет, возобновляет с нынешнего года свои спектакли. Парк находит свое старое, лучшее время, рухнувшее со всеми опустевшими домами, театром и замками, время московских загородных гуляний, где имена кн. Юсупова,

Шереметева, Нарышкина стоят, как баснословные мифы старой русской жизни, в которой было тепло и светло панам и барам, а до остальных доносилось только хлопанье пробок да чувствовалось хлопанье бичей. Жизнь эта рухнула... несколько лет все лежало в пыли в Петровском парке... старец величавый — Петровский замок пустел несколько лет. Теперь все начинает будто складываться по-новому: Парк оживает, расширяет свои пределы.

Парк — место приличное... В будни он своей обстановкой, если зажать уши или только вслушиваться в звуки, не принимая смысла, более всего напоминает парижское Bois de Boulogne, разумеется, если строго не принимать комфорта и изящества этого места. Экипажи, лошади, общество в большинстве безукоризненны... Язык французский, моды, особенно мужские, английские, движения, приличные костюмы и личики дам — очарование... Смотря на них, начинаешь верить в русский вкус по парижскому журналу и в русскую кровь с различными примесями. Парк имеет свое общество, которое особенно заметно выдается в будни; оно резко отделяется от того, которое бывает по праздникам и тут и в Сокольниках, и к нему только несколько приближается то, которое собирается там часов с шести около круглой беседки; в воскресенье и вообще в праздники этого общества не видно; как в Парке, так и в Сокольниках оно большею частию не удостоивает смешиваться в это время с толпою и только ненадолго показывается своею небольшою частию; по праздникам большая часть мест наших гуляний наполняется людьми среднего состояния, не умеющими гулять и не имеющими изящных форм привилегированных сословий, особенно если взять в сравнение женщин, выказывающих своею внешностью все богатство, всю даровитость русской породы. Праздничные наши гулянья не так изящны, не так выработаны в манере, в тоне, в приличии, как прогулки по будням; к ним целою толпою приливает зажиточное купечество в самом новом платье и блестящих шляпах и их неразлучные подруги жизни, менее всего пользующиеся значением этого слова на самом деле и по большей части отличающиеся тяжелиною, ценностию и яркостию своего костюма. Гулянье или прогулка — это лучшее, свободное от занятий время — принимает там более широкий, менее сдерживаемый ход, хотя шляпы, перчатки и прочие атрибуты общественных приличий заковывают в тесные колодки и руки и голову к ним не привыкших… Гулянья имеют гораздо большее значение, нежели о них вообще думают: в них немало выражается степень развития общества и даже частию образ воззрения его на жизнь… Возьмемте для этого несколько сравнений. Вероятно,

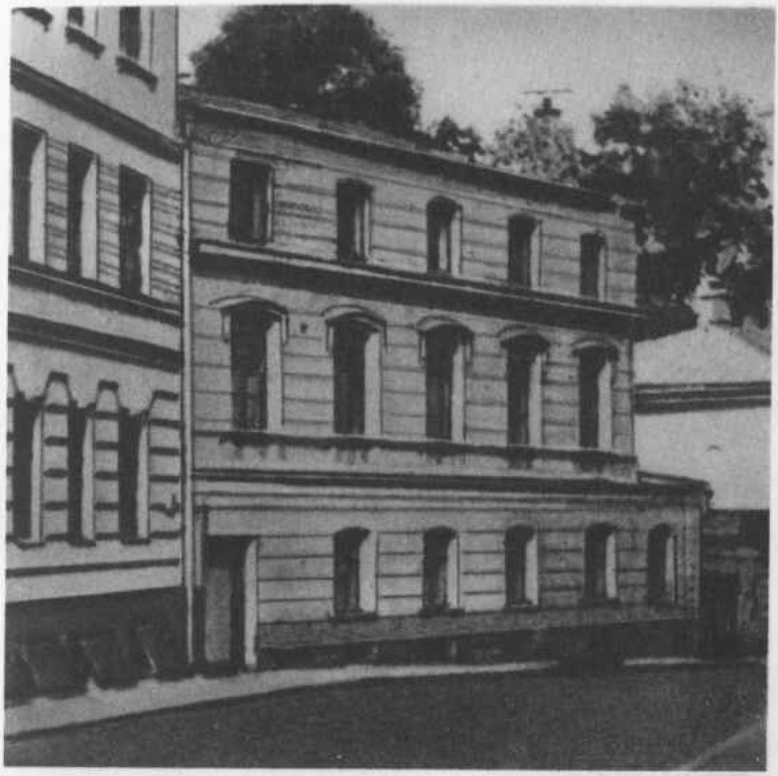
многим из наших читателей приходилось быть и видеть ежедневные прогулки в разных местах Парижа и вблизи него и даже, может быть, общественные увеселительные поездки и собрания в Crystal Palace и воскресные прогулки в парках Лондона. Неправда ли, что в первых явнее всего выражается живость, изящество и, до совершенства во всем — экипажах, костюмах, в приемах, в образе выражения — развитой вкус французского общества; между тем как во вторых, особенно в наглядно полезных собраниях Кристального дворца, более всего практического английского характера, имеющего в виду и в прогулке, в свободное время, отдаваемое одной из стихий жизни — удовольствиям, научиться чему-нибудь полезному? Так точно и в наших гуляньях есть доля выражения разнозвучия нашего общества. Парк, например, гуляет изящно, он или катается в дорогих экипажах, или плавно, с изящными фразами грациозно движется пестрою вереницей, стараясь как-нибудь обойти, отделиться от того, что не составляет его общества. В прогулках Сокольников другое выражение: там, по большей части и без всякого сомнения с исключениями, или выставка дорогих костюмов, или упражнение в передвижении ног, в то время, когда вся фигура обоих полов принимает какое-то неестественное, необычайное выражение: все ходит в струнку и руки по швам, и самый отчаянный кутила-купчик кажется в это время самым кротким ягненком…

В Парке не многие из числа гуляющих пьют чай, это считается mauvais genre, да и странно и трудно представить русскую большую барыню за самоваром; на открытом воздухе пьют только разве бойкие барыни в присутствии майоров, капитанов, Синицыных, Гвоздиковых и Винтиковых (Действующие лица полковых сцен И. С. Турбина «Бойкая барыня»). В Сокольниках, напротив, чайная торговля процветает; наши чайные торговцы должны непременно поминать это место ежедневно «о здравии», и русская купчиха, особенно несколько старого покроя, необыкновенно грациозна в роще за самоваром; в Парке даже и самоварница — существо форменное: солдатка, и далеко не так парадна и интересна, как сокольницкая самоварница — девочка вольная и с большими претензиями, со многими началами особо слагающегося, оригинального быта. Парк до нынешнего года был не богат местами, удовлетворяющими насущной потребности большей части русских гуляний, чувству, возбуждаемому несколько большим, нежели ежедневный моцион; между тем как Сокольники ежегодно открывают два, три ресторана да более полудюжины лавочек, в которых можно и выпить и закусить. Яр с его миниатюрными

порциями может почесться истым представителем нерасчетливости обитателей Парка, между тем как редко кто из видных посетителей Сокольников уедет без сытного родственного ужина и если и завернет в ресторанчик, так разве затем, чтобы выпить. В этом отношении Сокольники так же национальны, как и другие московские загородные гулянья, куда отъезжающие погулять с утра набирают съедобного и выпиваемого чуть не на неделю…

Сокольники разрослись чуть ли не в целый город; это будто выселки Москвы, в них в самое короткое время свалили не один десяток тысяч деревьев, и в образовавшихся просеках все строятся и строятся; на них во всем: в постройке, в удобствах, в образе жизни, даже в манере гулять — лежит купеческий характер. В лесу кругом по причине близости фабрик куча черного народа, купец — хозяин в Сокольниках; в них его и хорошие и дурные стороны: раскатистая русская песня по роще — и заугольное пьянство где-нибудь у услужливого Федьки или Васьки, строгий семейный быт — и жены как невольницы, с потупленными долу очами, без слов, без мысли, двигающиеся под руку с благоверным; раскрытые объятья сильному мира и сжатый кулак, кому нужда по горло; с иголки платье и нередко грязное белье…

Парк и Сокольники — два маленькие мира, два общества, едва знакомые друг с другом, и нравственное их расстояние гораздо дальше, нежели то, в котором они лежат, но дело тут, разумеется, не во внешности. Некоторые из подробностей о них надеемся передать в отдельной статье «Московские окрестности».



Здание, где находился театр П. Ф. Секретарева (Н. Кисловский пер., 6)

А. Н. Островский

В. П. Клюшников

Бывший дом Шепелевых (сейчас больница имени Медсантруда, Интернациональная ул., 11)

Д. Т. Ленский
В. И. Живокини

П. М. Садовский
М. С. Щепкин

В. А. Слепцов
А. И. Левитов

Н. С. Тихонравов
М. П. Погодин

А. Н. Плещеев
Ф. М. Достоевский

В. Ф. Одоевский
С. А. Юрьев

Павильон в Сокольниках

Фундаментальная библиотека Московского университета. Новое здание

Дом (№ 6) на Волхонке, где помещалась библиотека Ушаковых. Современное фото

ОЧЕРКИ МОСКВЫ.

—

Н. СКАВРОНСКАГО.

ВЫПУСКЪ ВТОРОЙ.

ФИЗІОЛОГІЯ ГОРОДА И ОБЩЕСТВА.

Цѣна 75 коп.

МОСКВА.

1866.

ВВЕДЕНИЕ

Года три назад мы выпустили книжку, собрав в ней несколько статей, обративших на себя кое-чье внимание в газетах, и напечатали их под общим заглавием «Очерки Москвы». Книжка пришлась ко времени: кое-что выяснила, пошумела и разошлась в довольно значительном количестве экземпляров. Означив на ней, что это первый выпуск, мы этим некоторым образом обязывались выдать и второй, но официальные занятия, в которых и сам как-то настраиваешься официально, помешали этому; вполовину же о чем бы то ни было говорить не хотелось… Поэтому-то второй выпуск «Очерков Москвы», может быть, к благополучию, не явился вскоре после первого и появляется, может быть, к неблагополучию, теперь… Может быть, он еще не будет последним, если передаваемые сведения о ходе общественной московской мысли, о работах и заботах москвичей о Москве и о том, как многие планы переходят в действительность и как нередко ею уродуются и наоборот, и, наконец, как именно ползет московская действительность, могут послужить к чьей-либо пользе или развлечению.

Москва в последнее время как будто изменилась; но это изменение большею частию кажущееся, нежели действительное. Думали, говорили и писали об этом ее изменении действительно много в последнее время, представлено, рассмотрено и решено весьма немало проектов, но еще очень не многое приводится в исполнение и еще менее исполнено… Главная роль в заботах об изменении Москвы к лучшему, бесспорно, принадлежит Московской городской общей думе, в которой соединились все знания и таланты, вся соль Москвы, так сказать, ее сливки — «сок умной молодежи», сказали бы мы стихом Грибоедова, но там все-таки не одна молодежь. Именно этой-то думской деятельности мы и посвящаем наш второй выпуск «Очерков Москвы».

Деятельностью Московской думы видимо и часто даже не шутя интересуются, что у нас вообще не часто в отношении серьезного дела; в том периоде этой деятельности, которого мы являемся бытописателем, деятельность эта была до того сильна и ярка, что разжигала даже страсти, что также у нас не часто; известный публицист «Московских ведомостей», вероятно, переломал не одну дюжину перьев, выпуская против направления этой деятельности статью за статьей, и даже отказался от содействия в трудах Думы как гласный — так он был затронут этой деятельностью! Некоторые гласные до того тормошились этим публицистом, были поставлены им в такое неудобное для

них положение, что получили даже название девяти мучеников, и все это вследствие одной подписанной им рекламы. М. П. Погодин в одном из заседаний со свойственной ему прямизною сказал великую истину, что у нас, к сожалению, ясно и здраво понимают дело молчащие, а говорящие по большей части оказываются непонимающими, что, действительно, не раз подтверждалось самим опытом. Не однажды разные сословия встречались в Думе лицом к лицу во имя своих интересов и бились напропалую. Г. Ботвинский ходил целым ополчением против уничтожения безденежной, жеребьевой раздачи площадных участков мещанам, но в конце концов сознался, что он человек неученый и с учеными людьми спорить не может; ученым же на этот раз оказался г. Кетчер, который на заметку г. Шипова по поводу перевода боен при колбасных за город для отстранения дурного запаха отвечал, что если только по этому поводу, то придется и все сортиры перевести за город!

Вот что, между прочим, говорит о Московской общей думе один из лучших органов русской печати «Современник»:

«Вообще, как Петербург ни склонен смеяться над Москвой, а она с толком принялась за городское хозяйство и ведет дело умненько. Если она так же будет продолжать его, то есть всякое основание думать, что она далеко оставит за собой Петербург, довольствующийся большею частию одним красноречивым разъяснением вопросов. Это, впрочем, мы говорим не о думе Петербургской, а вообще о склонности Петербурга к красноречию. Правда, что и Москва не без красноречивых людей: в самой Думе заседают почетные редакторы «Московских ведомостей», которые отлично приготовляют все сорты российского красноречия, даже с латинскою приправою и которые чуть не погубили «Городской листок», находя более приличным и разумным предоставить для замечания о городском хозяйстве столбцы «Московских ведомостей», а для обнародования различных официальных документов Думы завести, пожалуй, при «Московских» же «ведомостях» особое приложение, с умеренной платой за оное редакции за шрифт, набор и печатание, но таковыхкрасноречивых людей в Московской думе находится немного. Большею частию заседают там все члены или мало говорящие, или молчащие. Это хороший знак. При частом употреблении того способа, какой хочет ввести М. П. Погодин для выпытывания из молчащих членов Думы их мнений, говорить их заставят и мало-помалу приучат. Зато, когда они будут говорить, они будут говорить только дело. Какая будет благодать! В них не будет страсти ни ставить вопросов, ни формулировать их, ни вотировать, ни интерпеллировать, ни делать амендементов и

т. п., вообще не будет мерзкой страсти рисоваться формою парламентаризма, без чего русский красноречивый человек обойтись не может. А второе и главное, на них не будет иметь никакого влияния красноречие «Московских ведомостей» даже и в том случае, когда оно будет блистать самыми остроумными и глубокомысленными изречениями древних!

Имея в виду, что все наши новые городские думы будут держаться открытого обсуждения дел, какого держится Московская, мы думаем, что они могли бы быть с пользой избраны центральными местами для предварительного обсуждения проектов разных уставов, касающихся городского населения. Немного можно найти уставов, которые так или иначе не касались бы городских интересов; под городскими интересами мы разумеем не только интересы кассы городских доходов, но и интересы обывателей. Цель думы, мы полагаем, состоит не в том только, чтобы увеличивать доходы этой кассы и расходовать их, но и сберегать те силы и источники, с которых собирают эти доходы, — а следовательно, заботиться об интересах жителей, гимназия, устраиваемая на казенные деньги, конечно, не имеет никакого отношения по существующему порядку к думе, но в гимназию жители города будут платить деньги за обучение своих детей. Потому, чтобы деньги не платить даром, что бесполезно для местных потребностей, дума может войти в рассмотрение и соображение: какого рода, с каким курсом наук требуется ей гимназия? И при прениях об этом предмете, возбужденных в думе, вопрос о реальном и классическом образовании получит надлежащую почву и не будет казаться таким пустым, каким он является теперь в литературе. Точно так же и вопрос о готтентотских школах, возбужденный «Днем», найдет себе тогда действительный жизненный ответ. Вопросы почтовые еще более близки интересам городских жителей. И полезно бы было, чтоб при всех преобразованиях по этой части принимались в соображение отзывы и замечания городских жителей, а для этого опять лучшее место была бы дума. Одним словом, если какие-нибудь ведомства администрации пожелают призвать к участию в предполагаемых ими преобразованиях городское общество, то кроме придания этим проектам гласности путем печати самым верным средством для этого будет передача этих проектов на предварительное рассмотрение дум, поставленных так, как поставлена дума Московская. Тогда проекты действительно сделаются известны значительному числу общества и вызовут с его стороны ответы, которые будут соображены и разработаны в думе. Конечно, каждая дума будет рассматривать проект лишь настолько, насколько он касается интересов ее города. Но это

ничего. Во-первых, большая часть вопросов, излагаемых разными уставами, такого рода, что имеют характер общий для всей России. Что не годится для одного города, то не может годиться и для другого. Во-вторых, предполагая, что у нас долго не учредятся в городах думы с новым устройством и что проекты уставов будут рассматриваться только в думах Петербургской и Московской, мы все-таки думаем, что знать по частным вопросам и мнения двух этих дум будет дело вовсе не липшее. Все-таки это будет реальная почва, держась за которую можно ближе подойти к действительности и относительно других городов.

К этой мысли о предварительном рассмотрении проектов уставов, касающихся городских интересов, в думе склоняется и приведенная нами заметка г. Погодина по требованию самой сути дела. Составляется проект по преобразованию полиции. Никакое учреждение не имеет столько отношений ни к Думе, ни к городским жителям, как полиция. Следовательно, тот или другой устав будет иметь полиция — это для Думы вопрос первой важности. Из Думы для участия в составлении проекта приглашены два депутата, и депутаты компетентные. Но г. Погодин весьма основательно доказывает, что этого мало. Он говорит, что необходимо к участию в составлении проекта устава о полиции привлечь всю Думу таким образом, чтобы депутаты, выслушав все рассуждения и заявления Думы по предмету благоустройства полиции, шли с этим запасом в комитет о ее устройстве, а оттуда, т. е. из комитета, приносили бы в Думу сведения о заявлениях и трудах его, так чтобы Дума в случае нужды могла представить свои просьбы, о чем будет надобность. На делаемое нами предположение о передаче в думы проектов преобразований, касающихся городских интересов, нам могут возразить: будут ли все думы так удачно составляться, как составлена в настоящее время дума Московская? Будет ли им возможность при-обресть во всех местностях обширного отечества нашего то положение, которым пользуется последняя? Во всех ли городах найдется достаточное число людей в думах, которые могли бы рассуждать по предметам различных управлений? Ведь явятся, пожалуй, и такие думы, которые потребуют основания готтентотских училищ, а то и хуже чего-нибудь? На все сии вопросы можно ответствовать, что думы занимаются предварительным рассмотрением и обсуждением проектов, но права утверждения их не имеют. Следовательно, если найдется какая-нибудь дума, которая потребует готтентотских училищ или чего-нибудь хуже еще, то это сделает она только к своему посрамлению и к вящей славе прогрессивных составителей уставов.

Такое высокое мнение мы имеем о будущем наших новых дум и не скрываем того, что это мнение родилось и созрело в нас под влиянием тех приятных впечатлений, которые производит на нас дума Московская своими разумными действиями.

Таково беспристрастие и самоотвержение петербургской литературы! Я уверен, что ни один московский литератор под угрозой смерти не согласится похвалить какое бы то ни было учреждение в С.-Петербурге, особенно если таковое же учреждение есть и в Москве! Это значило бы в их мнении унизиться до космополитизма, до измены, некоторым образом, бежать до лясу. Московская литература не может иначе говорить о Петербурге, как с пеною у рта. И это не вследствие какого-нибудь временного, мимолетного раздражения, а вследствие строго созданной и глубоко обдуманной теории.

Теория эта состоит в следующем: все человечество распадается на две половины: на человечество западное и человечество восточное. Необходимый признак западного человечества: отсутствие славянства и латинство. Под латинством разумеется, впрочем, не один папизм, но и лютеранизм со всеми его разветвлениями, ибо лютеранизм есть не что иное, как обратная сторона того же папизма (это уж у них так как-то выходит несомненно, читай славянофилов). Необходимый признак восточного человечества — славянство. Между восточным и западным человечеством примирение невозможно и должна идти нескончаемая вражда, пока они оба существуют. Впрочем, западному человечеству, по гнилости основ его, остается жить недолго. Тогда останется и будет процветать одно восточное человечество. Восточное человечество распадается на две неравные части: одну часть составляет Петербург с прилегающими близко к нему городами: Кронштадтом, Петергофом, Царским Селом и т. д., а другую все остальное восточное человечество, во главе которого стоит Москва. Петербург будет существовать дотоле, пока Россия, руководимая Москвою, очистит свое народное сознание от плесени противонародных воззрений и грехов. И близко уже время, когда это очищение кончится.

Тогда Москва сделается весьма признанным нравственным центром всей России и всего восточного человечества. Петербург же потеряет всякое нравственное и политическое значение, а может и совершенно уничтожиться, что дело также возможное, судя по случающимся в нем время от времени наводнениям. Имея это в виду, московская литература давно уже приискивает место, где бы основать будущую столицу России. Хотя из сообщенной нами выше теории ее прямо вытекает, что столица России после

нравственного или физического уничтожения Петербурга нигде не может быть основана, кроме Москвы, тем более, что там есть и ученые и литераторы, необходимые для украшения столицы; однако ж относительно этого пункта существует разногласие. «День» настаивает, чтоб столица была основана в Москве. Другие более полезным находят поместить ее в Киеве, вообще где-нибудь на юге России. В этом неопределенном состоянии вопрос о будущей столице России находится доселе.

В силу представленной нами московской теории московская литература, может быть, имеет полное основание ненавидеть Петербург. Но каково же Петербургу-то, оставаясь в живых и чувствуя себя в добром здоровье, присутствовать при доброжелательно устраиваемых ему другими похоронах и слушать надгробные над собою слова!

Каково тем более нам, случайным жителям его, чувствовать вместе с ним себя также некоторым образом заживо погребаемыми и слышать над собой надгробные речи еще более нелестные, чем какие выслушивает Петербург! И каково же должно быть благодушие петербургской литературы, когда и за всем тем она умеет отдать должную справедливость Москве в ее достойных делах».

Следовательно, и с этой стороны Московская общая дума рекомендуется весьма лестным для нее образом и из всех органов печати не нравится только «Московским ведомостям».

Нам остается теперь, пред изложением самой деятельности, сказать два слова собственно о механизме этой деятельности: как начинается каждое общественное дело, какие оно проходит инстанции, кем и чем движется и каково участие в нем того или другого сословия. Скажем об этом коротко и не будем вдаваться в тонкости, особенно же постараемся избегать личностей, хотя в механизме этой деятельности, к счастию, есть такие личности, около которых, без прибавления, все группируется, которые без шуму, без громких фраз умеют вести и направлять дело именно по тому пути, на котором ˚но приносит возможно больший процент пользы, — есть и такие, которые, не пользуясь правом голоса, проводят в общество свое благотворное влияние, знакомят его с настоящим его положением и добавляют его всеми современными и научными данными… Таким личностям, по нашему мнению, главным успехом. Есть, разумеется, и другие, с совершенно противоположным направлением. Но есть ли в этой Думе действительно полный общественный элемент всех сословий — выражает ли она все желания московского населения, дружно ли идут все силы в работе? Да! Видите, чего захотели! Скоро больно! В чем же дело? По нашим наблюдениям, время

промежутка между двумя половинами заседаний, в которое гласные собираются курить и пить чай в другой зале, рядом с залою заседаний, разрешает этот вопрос самым наглядным образом: промежуток этот соединяет разрозненные сословия в отдельные кружки и развязывает язык не только у лиц говоривших, но и молчавших. Нередко при этом слышатся мнения более здравые и несравненно более идущие к делу, нежели в самой зале собрания…

— Почему же вы там этого не говорили, или почему же вы постоянно молчите, когда можете провести такие полезные мнения? — приходилось нам не раз спрашивать у подобных лиц.

— Там другое дело, там все-таки заседание, дело ответственное; да и говорить-то мы не умеем.

— Да вот теперь говорите же?

— Мы это так, между собою, попросту.

— Да и там бы можно так же попросту.

— Нет, там этого нельзя… там говорят все люди ученые, складно, красно…

— Да зачем же после этого и приезжать?

— Ничего не поделаешь — служба!

Замечательно то, что при равноправности в собраниях Общей думы одно сословие ярко отличается от другого; в главе всего стоит, несомненно, дворянство обеих категорий, что давало некоторым повод предполагать в Московской думе аристократический элемент, которого на самом деле нет, а на место этого действительно есть несколько влиятельных лиц, дающих многому тон, но без этого уже трудно, особенно у нас. Из купечества, к сожалению, как бы наперекор старому, выделяется весьма немного деятельных и способных к общественному делу лиц; из мещанства еще менее; ремесленники представляют самое бесталанное сословие для этого дела, и Ремесленная управа постоянно отличается всевозможными выдающимися из общего уровня служебными скандалами. Только соединенными лицами, главный процент которых приходится на образованные сословия, и движется дело. В этом круге даже мало заметны и следы сословных отношений… Одно только можно поставить в упрек им — это то, что круг их несколько замкнут и иногда отличается нетерпимостию, что не всегда с полною готовностию выслушивают мнения посторонних лиц или лиц, не держащихся ничьего направления, между которыми есть, однако, деловые; но все-таки при всем при этом можно с отрадою сказать, что деятельность Московской общей думы довольно дружна, что она старается выйти из исключительности и что даже и влиятельные лица тут не вредят. Есть промахи, что говорить, но на них мы и

обратим внимание в самом изложении деятельности Думы… […]

Говоря про деятельность Московской городской общей думы, считаем нелишним сказать несколько слов и про состав ее, а также и про порядок избрания гласных и привести по этому поводу параллель подобных учреждений в Англии и Франции.

Московская дума состоит из 175 гласных, избираемых выборными, которых каждое сословие имеет в своей среде по сту человек. Эти же выборные избирают и городского голову. Дума в общем своем составе разделяется на Общую и Распорядительную. Общая дума рассматривает положение городских дел, входит посредством избранных из среды гласных разных комиссий в рассмотрение того или другого предмета городского хозяйства и в особых докладах передает свои соображения общему собранию Общей думы. Эта последняя делает свои приговоры, поступающие на утверждение генерал-губернатора или министерств и потом уже передает для исполнения Распорядительной думе, состоящей под председательством городского головы из пяти членов, избираемых также из гласных. […]

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩАЯ ДУМА В НОВОМ СОСТАВЕ

Городской голова — князь Александр Алексеевич ЩЕРБАТОВ.

Сословные старшины и их товарищи

По сословию потомственных дворян:
Испр. долж. старшины — Михаил Илларионович Бибиков.

По сословию личных дворян:
Старшина — Константин Карлович Шильдбах. Товарищ старшины — Владимир Петрович Вишняков.

По сословию купеческому:
Старшина — Федор Федорович Резанов. Товарищ старшины — Сергей Михайлович Третьяков.

По сословию мещанскому:
Старшина — Вгютлий Тимофеевич Торгашев. Товарищ старшины — Доримедонт Николаевич Малиновский.

По сословию ремесленному:
Старшина — Михаил Иванович Кустов. Товарищ старшины — Михаил Захарович Захаров.

Гг. гласные сословия потомственных дворян:
1. Щербатов Князь Александр Алексеевич.
2. Гагарин Князь Лев Николаевич.
3. Шумахер Даниил Даниилович.
4. Мильгаузен Федор Богданович.
5. Тарасов Степан Алексеевич.
6. Сухотин Сергей Михайлович.
7. Мусин-Пушкин Иван Иванович.
8. Погодин Михаил Петрович.
9. Строев Николай Михайлович.
10. Щепкин Николай Михайлович.
11. Бобринский Граф Алексей Васильевич.
12. Багриновский Михаил Яковлевич.
13. Мусин-Пушкин Алексей Сергеевич.
14. Наумов Дмитрий Алексеевич.

15. Бабин Виктор Алексеевич.
16. Самарин Юрий Федорович.
17. Самарин Петр Федорович.
18. Бибиков Михачил Илларионович.
19. Полянский Павел Моисеевич.
20. Захарьин Григорий Антонович.
21. Шипов Дмитрий Павлович.
22. Петров Павел Иванович.
23. Рябинин Алексей Андреевич.
24. Воейков Петр Петрович.
25. Голицын Князь Дмитрий Михайлович.
26. Наумов Александр Алексеевич.
27. Кетчер Николай Яковлевич.
28. Филимонов Дмитрий Дмитриевич.
29. Миндерер Александр Христианович.
30. Игнатьев Николай Дмитриевич.
31. Неронов Михаил Владимирович.
32. Мещерский Князь Николай Петрович.
33. Рихтер Федор Федорович.
34. Перфильев Сергей Степанович.
35. Дурново Петр Аполлонович.

Гг. гласные сословия личных дворян:
1. Волков Александр Николаевич.
2. Тарасенков Алексей Терентьевич.
3. Шильдбах Константин Карлович.
4. Попов Павел Иванович.
5. Бостанджогло Николай Михайлович.
6. Лукутин Александр Семенович.
7. Федоров Степан Федорович.
8. Вишняков Владимир Петрович.
9. Ильин Александр Алексеевич.
10. Кравченко Иван Федорович.
11. Богданов Анатолий Петрович.
12. Богословский-Платонов Ипполит Михайлович (Свящ.).
13. Умов Алексей Павлович.
14. Ауэрбах Иван Богданович.
15. Боткин Петр Петрович.
16. Кознов Сергей Петрович.
17. Свешников Федор Осипович.
18. Стариков Андрей Никифорович.
19. Смирнов Георгий Карпович.
20. Торлецкий Александр Александрович.
21. Титов Гавриил Яковлевич.

22. Аксенов Сергей Дмитриевич.
23. Грачев Дмитрий Семенович.
24. Литвинов Иван Павлович.
25. Аксенов Иван Дмитриевич.
26. Михайлов Петр Васильевич.
27. Сокольский Иван Иванович.
28. Громов Ермолай Михайлович.
29. Виноградов Алексей Афанасьевич.
30. Мамонов Николай Евграфович.
31. Спиро Антон Осипович.
32. Кутуков Павел Сергеевич.
33. Шапошников Карп Кондратьевич.
34. Омиров Федор Васильевич.
35. Костарев Савва Васильевич.

Гг. гласные сословия купеческого:
1. Резанов Федор Федорович.
2. Лямин Иван Артемьевич.
3. Четвериков Иван Иванович.
4. Солдатенков Козьма Терентьевич.
5. Крестовников Александр Константинович.
6. Якунчиков Василий Иванович.
7. Аксенов Василий Дмитриевич.
8. Ширяев Сергей Дмитриевич.
9. Бостанджогло Василий Михайлович.
10. Морозов Тимофей Саввич.
11. Абрикосов Алексей Иванович.
12. Дюшен Петр Петрович.
13. Марецкий Василий Степанович.
14. Третьяков Сергей Михайлович.
15. Попов Максим Ефремович.
16. Ценкер Иосиф Францевич.
17. Крестовников Валентин Константинович.
18. Кокорев Василий Александрович.
19. Карцев Сергей Петрович.
20. Попов Константин Абрамович.
21. Четвериков Дмитрий Иванович.
22. Сорокоумовский Павел Петрович.
23. Живаго Василий Иванович.
24. Найденов Николай Александрович.
25. Сиротинин Василий Алексеевич.
26. Щукин Иван Васильевич.
27. Пороховщиков Александр Александрович.
28. Борисовский Никанор Мартемианович.

29. Коншин Владимир Дмитриевич.
30. Воронин Павел Петрович.
31. Ляпин Михаил Илиодорович.
32. Бакланов Иван Козьмич.
33. Шубин Николай Федорович.
34. Мамонтов Виктор Николаевич.
35. Рябушинский Павел Михайлович.

Гг. гласные сословия мещанского:
1. Торгашев Василий Тимофеевич.
2. Спиридонов Никифор Спиридонович.
3. Келлер Александр Алексеевич.
4. Ветчинкин Матвей Григорьевич.
5. Зайцев Яков Алексеевич.
6. Беляев Петр Александрович.
7. Круглов Герасим Андреевич.
8. Лукьянов Филипп Григорьевич.
9. Филиппов Петр Васильевич.
10. Орловский Павел Егорович.
11. Глухарев Алексей Васильевич.
12. Гурьев Яков Гурьевич.
13. Свинцов Архип Ефимович.
14. Мурашов Филипп Игнатьевич.
15. Горбунов Александр Кельсиевич.
16. Иванов Иван Иванович.
17. Макаров Иван Иванович.
18. Михайлов Петр Михайлович.
19. Добрынин Николай Васильевич.
20. Найденов Егор Григорьевич.
21. Ярославцев Иван Никифорович.
22. Полетаев Сергей Константинович.
23. Яковлев Иван Яковлевич.
24. Долгоусов Гурий Павлович.
25. Будрушов Николай Федорович.
26. Скородумов Яков Терентьевич.
27. Сысоев Федор Сидорович.
28. Свиридов Сергей Герасимович.
29. Степанов Алексей Степанович.
30. Лебедев Яков Андреевич.
31. Крылов Григорий Степанович.
32. Лисицын Матвей Матвеевич.
33. Максимов Иван Максимович.
34. Лузин Василий Дементьевич.
35. Бородин Илья Максимович.

Гг. гласные сословия ремесленного:
1. Орлов Григорий Алексеевич.
2. Киселев Гавриил Егорович.
3. Жуков Иван Петрович.
4. Орлов Михаил Гаврилович.
5. Кустов Михаил Иванович.
6. Цвиров Иван Гаврилович.
7. Орлов Егор Макарович.
8. Буханов Яков Ильич.
9. Дрожжин Алексей Васильевич.
10. Кельсиев Федор Кельсиевич.
11. Зверев Николай Иванович.
12. Захаров Михаил Захарович.
13. Орлов Николай Прокофьевич.
14. Матвеев Николай Матвеевич.
15. Борисов Александр Борисович.
16. Федоров Андрей Федорович.
17. Селезнев Иван Степанович.
18. Хитров Яков Яковлевич.
19. Огнев Николай Астафьевич.
20. Хлобыстов Никита Матвеевич.
21. Терентьев Арсений Терентьевич.
22. Васильев Василий Васильевич.
23. Яковлев Николай Федотович.
24. Ефимони Иван Ефимович.
25. Ефремов Ефим Ефремович.
26. Королев Василий Петрович.
27. Лебедев Константин Тихонович.
28. Мелихов Тимофей Алексеевич.
29. Лопенко Николай Павлович.
30. Захаров Николай Захарович.
31. Баскаков Василий Владимирович.
32. Меркулов Ефим Меркулович.
33. Змиев Николай Иванович.
34. Нестеров Петр Васильевич.
35. Федоров Александр Федорович.

Почетные мировые судьи:
1. Самарин П. Ф.
2. Шильдбах К. К.
3. Гагарин кн. Л. Н.
4. Тарасов С. А.
5. Голицын кн. Д. М.

6. Бсбринский гр. А. В.
7. Голицын кн. М. Ф.
8. Шипов Д. П.
9. Мильгаузен Ф. Б.
10. Оболенский кн. С. А.
11. Воейков П. П.
12. Бостанджогло В. М.
13. Рябинин А. А.
14. Чертков Г. А.
15. Дюшен П. П.
16. Любимов Д. С.
17. Карпов И. М.
18. Четвериков И. М.
19. Стариков А. Н.
20. Баршев С. И.
21. Гевлич Д. К.
22. Альфонский А. А.
23. Грудев Г. В.
24. Бухтеев М. А.
25. Петров П. И.
26. Волков А. Н.
27. Новиков П. А.
28. Игнатьев Н. Д.
29. Шиловский П. С.
30. Бухтеев А. Н.
31. Нейдгард Б. А.
32. Позняков И. Н.
33. Плечко А. Д.

Участковые мировые судьи:
1. Щепкин Н. М.
2. Свешников Ф. О.
3. Бояркин Я. Я.
4. Румянцев С. С.
5. Лопухин А. А.
6. Бафиновский М. Я.
7. Титов Г. Я.
8. Неронов М. В.
9. Скопин Н. П.
10. Чернев К. Н.
11. Шереметевский П. Е.
12. Ланской гр. М. С.
13. Перфильев С. С.
14. Жоманов И. Е.

15. Эберн Н. И.
16. Селиванов И. В.
17. Вердеревский В. А.
18. Давидов И. Ю.
19. Данилов Н. Н.
20. Баршев М. С.
21. Соколов А. П.
22. Зилов А. А.
23. Михайлов Д. А.
24. Ефремов А. А.

ГДЕ МОЖНО ПОКОЙНО СПАТЬ, СЫТО И НЕДОРОГО ЕСТЬ В МОСКВЕ

Не во многих гостиницах Москвы… Хотя старикам московский балагур, автор «Турус на колесах», и говорит, что он не раз бывал в белокаменной красавице, ел сайки да яйца, пивцом бархатным запивал, горе житейское забывал… но это время вообще миновало, хотя ни в сайках, ни в пиве бархатном недостатка в Москве нет, а дешево есть негде… да и цены же пошли теперь на провизию — просто страсть: на рубль семейству человека в три, четыре да еще хотя с какой-нибудь ледащею прислугой и перекусать нечего. Об улучшении этой статьи и о приведении ее вмоготу современному человечеству надо позаботиться уже не одному городскому, но и сельскому обществу — дана ему, слава Богу, свобода и право голоса и право заботиться о себе, надо же к чему-нибудь его прикладывать — не все на печи лежать!

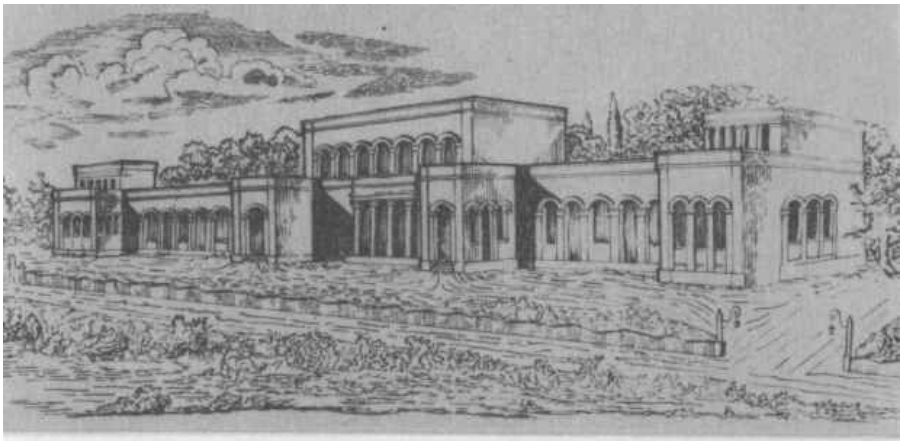
Приведем для сравнения цену на провизию 1766 и 1782 [годов] да сравним их с нынешними. Что же за благодать бы была, если бы при настоящем положении можно покупать такими ценами!

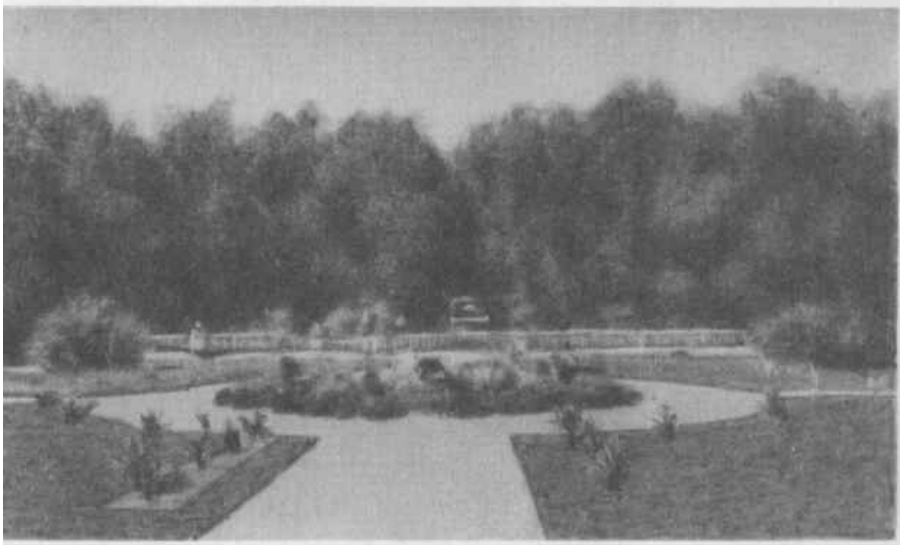
Теперь же, когда к нам вдвигается Европа, когда даже уничтожена такса на хлеб и мясо и подразумевается, что свободная конкуренция способна удешевить наши жизненные припасы, Москва платит ужасные цены за все, что только необходимо, чтоб дышать и жить… Возьмем хотя одну говядину, которая стоит от 10 до 15 коп., что ж говорить об остальном… И вот поэтому и, может быть, вследствие и других каких-либо причин приезжему человеку с не совсем туго набитым карманом и естся и пьется не совсем-то вольготно и весело в Москве. Хорошо бы, пожалуй, у Кокорева в гостинице у Москворецкого моста, да уж слишком русским духом пахнет, чересчур! Пожалуй, не дурно бы у Мамонтова, если б хотя и уничтоженные бани не давали особого смаку и характера помещению. О прочих русских приютах и говорить нечего: не хорошо. О положении подворий желающий может справиться в первом номере наших «Очерков», в статье «Городская часть»: они во многом попахивают допетровскими временами. Гостиницы: Шевалье, Дюсо, Гашедуа, «Париж», «Рим» и «Россия» — все это кусается. Покойный Морель еще умел и приютить и покормить, за то и похоронили его чуть не на чужие деньги; ему теперь нет преемников, да, вероятно, и не найдется охотников; не больно-то ценят таких людей в Москве,

и, вероятно, издатель его портрета И. П. Глазунов останется внакладе. Било держит chambrs garnies только для иностранцев, Роше де Канкаль с специальною целью, Сан-Суси чисто для специальности, даже «Лондон», несмотря на баснословно выгодный контракт с Мещанским обществом, невыгоден, а там, как говорится, пошла писать губерния. Одним словом, эта часть в Москве хромает, Петербург в этом отношении, пожалуй, человечнее. Приходится выбирать глядя по карману, и русскому человеку лучше всего стать у Кокорева; там хоть щей хороших дадут, ну и водке, вероятно, знают толк. Про трактиры и говорить нечего: там только облизнешься и вынимай уже рубль; в «Московском», пожалуй, и дешева и крепка водка… ну да водка, как известно, только возбуждает аппетит — впрочем, двум, трем трактирам: «Московскому», Троицкому, пожалуй, еще Борегар на Никольской можно сказать спасибо и за то, чго не портят дара Божия, подают большею частию хотя аи naturelle, хотя нет в них жеваного, пареного и т. п., от которого в так называемых ресторанах просто на душе мутит.

Говоря про подобные удобства в отношении людей денежных, мы пока повоздержимся от правдивого изложения — каково приходится в нашей столице людям бедного состояния, что такое, например, московские ночлежные дома, что такое московские углы, что такое комнаты с мебелью, об этом, читатель, в следующем выпуске.

Кстати, два слова об условиях г. Борегар с Петровскою академиею, которая, дай ей Бог здоровья, открывает у нас новый свет. Говорим это нисколько не в ироническом тоне. Как мы слышали, г. Борегар заключил условие с академией, не знаем, на какое число лет, получил по этому условию даровое помещение, даровое отопление, даровое освещение, право свободной торговли и за все это обязался кормить студентов академии за 6 р. с. в месяц, давая за это только два блюда. Условия беспримерно выгодные, но что же делать если и на них отозвался один только г. Борегар. Вот в этом-то отношении раздачи участков без платы на 90 лет для желающих выстроить квартиры для студентов и, наконец, в отношении самой цели образования и говорится, что академия открывает у нас новый свет.





Воксал в Петровском парке
Петровский парк

Фундаментальная библиотека Московского университета. Новое здание

Дом (№ 6) на Волхонке, где помещалась библиотека Ушаковых. Современное фото

Страстная площадь. Литография Ж. Жакоте и Башелье по рис. И. Шарлеманя. *1850-е гг.*

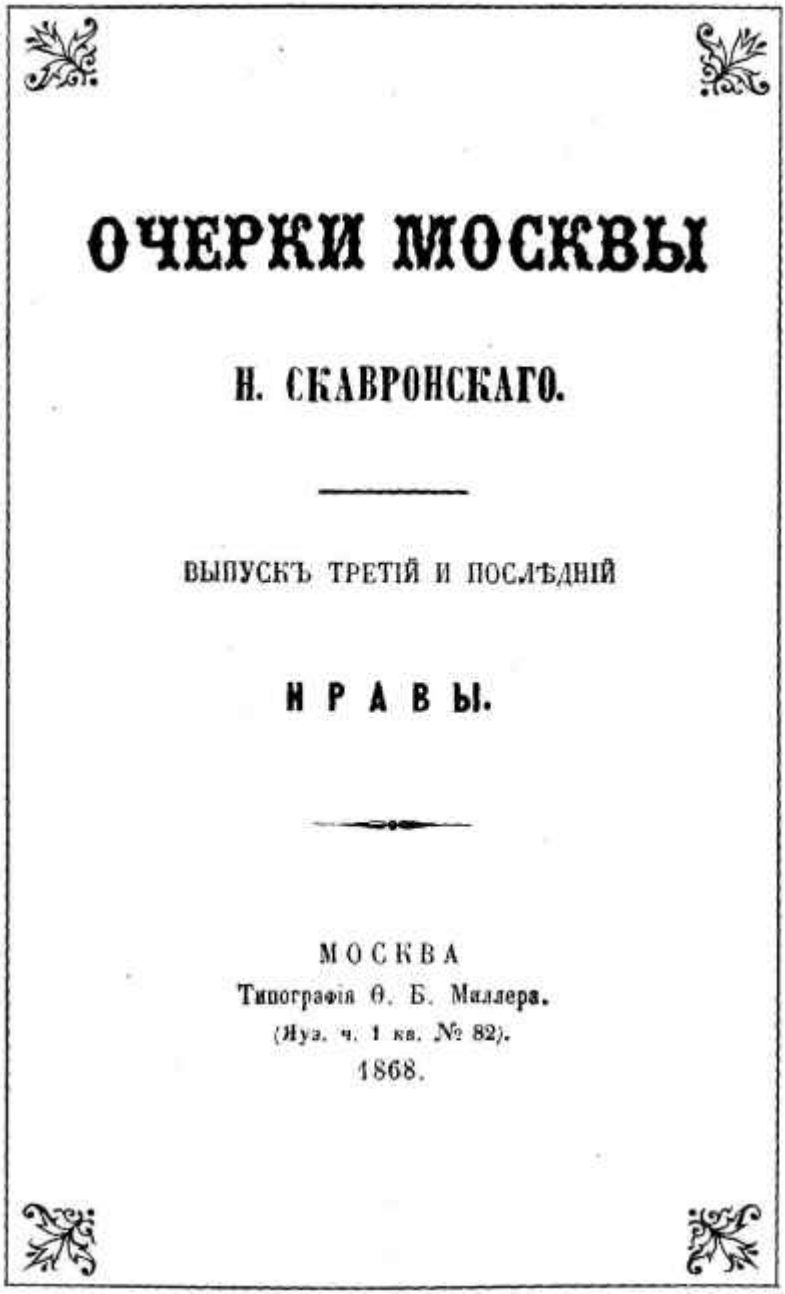
Улица Ильинка. Литография по акварели А. Руднева. *1867 г.*

Купеческий клуб на Б. Дмитровке (ныне Пушкинская ул., 17)
Московское коммерческое училище на Остоженке

Ивановский монастырь
Кремль от Швивой горки

Храм Христа Спасителя
Алексеевский монастырь

ОЧЕРКИ МОСКВЫ. ВЫПУСКЪ ТРЕТИЙ. НРАВЫ.



ОЧЕРКИ МОСКВЫ

Н. СКАВРОНСКАГО.

ВЫПУСКЪ ТРЕТІЙ И ПОСЛѢДНІЙ

НРАВЫ.

МОСКВА
Типографія Ѳ. Б. Миллера.
(Ив. ч. 1 кв. № 82).
1868.

СОКОЛЬНИЦКАЯ ИДИЛЛИЯ

Ах, не все нам реки слезные
Лить о бедствиях существенных;
На минуту позабудемся
В чародействе красных вымысле^.
Карамзин

Это даже и не совсем вымысел, но не совсем же и быль, в наш скептический век похожая на вымысел: мы ведь стали черствы, недоверчивы, положительны, на все смотрим хладнокровно, любовь не можем представить иначе, как при большом приданом, а проявление этого чувства в простолюдине принимаем не иначе, как за животные влечения; но несколько лет тому назад в Сокольниках случилось нечто, не подходящее под эти понятия, что мы теперь и хотим рассказать нашим читателям.

Несколько лет тому назад, живя в Сокольниках, почти каждое утро и в другое время дня, на так называемом старом гулянье, я постоянно встречал одного скромно одетого и, по-видимому, больного человека лет под сорок, который ходил постоянно один, повесивши голову, по-видимому, глубоко задумавшись и не обращая ни на кого внимания… Одет он был скромно, в чем-нибудь сереньком, как это, по-великосветски выражается, без белья, и своим поведением, а также молчаливыми появлениями на гуляньях и только что входивших тогда в моду летних балах в палаточках у г-на Куртенера обращал на себя внимание и получил ото всех прозвание чудака.

Я встретил его как-то в жаркий полдень, на его обычном месте, на скамейке под сосною, противу места, занимаемого, как думают некоторые, известными всему свету сокольницкими самоварницами.

В среде их была одна смазливенькая девочка — Лиза, к которой, как я заметил, сокольницкий чудак оказывал особое внимание и следил за всеми, кто бывал чаще обыкновенного около нее. Я заметил этого чудака в то время, когда шел от этой хорошенькой самоварницы.

— Молодой человек, молодой человек! — окрикнул он меня.

Я оглянулся.

— Пожалуйте-ка сюда, пожалуйте-ка… Да полно-те-ка церемониться, пожалуйте-ка! — пригласил он как-то особенно желчно, настоятельно, так что я невольно подошел к нему.

— Садитесь. Я сел.

— Молодой человек, я невольно, изволите видеть, обращаю

на вас особенное внимание.

— Что вам угодно?

— Я, изволите видеть… дело-то оно немножко щекотливое…

— Что же такое?

— Я вот… Как бы это определить-то вам… Я просил бы вас, молодой человек, — он видимо делал над собой усилие, — просил бы вас и ваших молодых товарищей оставить в покое ту девушку, от которой вы теперь идете.

— То есть как это в покое?.. Мы ее не беспокоим!

— Это очень может быть, что не беспокоите, но вы вот ходите к ней часто, чай у ней пьете, даете ей по рублю и более, ложечки дарите…

— Да вам-то в этом какое дело?

Бывши в молодости особенно запальчив, я, видимо, ответил ему резко… Он будто оробел, но так и ухватился за меня.

— Молодой человек, молодой человек…. Извините меня, но я обращаюсь к вам, потому что вы мне нравитесь, доверие мне внушаете.

— Очень вам благодарен… Что же вам от меня угодно?

— Я у вас не требую, я прошу у вас… Здесь так много молодых девушек, молодые девушки так любят молодых людей, вы такой молодой, такой молодец

~ ™еНЬ*Вам благ˚ДаРен! — ответил я, усмехнувшись. Мне было тогда лет восемнадцать, и лестно было слышать такие комплименты. — Очень вам благодарен, но я не понимаю, что вам от меня угодно.

— Вы не будете надо мной смеяться?.. Зачем же смеяться, если не будет смешно? Ну, а если смешно будет?

— Тогда уж извините…

Смеяться, право, не грешно Над тем, что кажется смешно.

— Ну, вот — вы сейчас и стихами, я вот о серьезном, жизненном деле, а вы стихами!

— О серьезном, жизненном… Ну, говорите, не буду смеяться.

— Ну — хорошо, спасибо вам… Я так и думал, что вы… что с вами можно… того… поговорить с вами можно… Вот видите, я хотел поговорить с вами… Вот видите, эта Лиза, девушка эта, мне дорога очень, потому… потому, что я ее очень люблю…

Он с большим трудом выговорил это слово, и даже на его щеках вспыхнул болезненный румянец. Я внимательно оглянул его и помню, что в то время мне, свежему и молодому, хотелось захохотать при этом признании во все горло, но помню, что я удержался… Как сейчас помню фигуру и черты этого человека: среднего роста, сгорбленный, с тонкими чертами лица, очень худой и болезненный, он смотрел очень жалко; жизнь видимо

прошлась по нему неприветливою рукою, как я узнал потом, он был в чахотке при последней степени и лечился сывороткою… Осунувшееся лицо его смотрело очень симпатично, но зловещий блеск глаз и румянец придавали этому лицу неприятное, болезненное выражение. Когда он выговорил «люблю», он закашлялся и схватился за горло… На глазах у него были слезы. Помню, что это на меня сильно подействовало, и мой непрошеный смех сменился чувством сожаления.

— Простите, что я вас обеспокоил, — проговорил он с расстановкою, — но я вас прошу, оставьте эту девушку и попросите ваших товарищей не преследовать ее… Знаете, она девушка неиспорченная… честная девушка… ее отец такой почтенный человек, он вот тут у одного купца садовником служит… Его очень оскорбляет, когда вы к ней пристаете; занятие ее честное, а вы все около нее с задними мыслями… Прошу вас, оставьте, пожалейте старика.

Меня начинало сбивать с толку: он просил то за себя, то за отца Лизы.

— Но вы ведь говорите, что она вам дорога?

Да, то есть… я вот теперь не совсем здоров… я поправлюсь и тогда я, может быть…

— Что же вы, жениться, что ли, на ней хотите?

— Да я… я думаю об этом. Вот видите, как я откровенен с вами.

Мне опять, по молодости и беззаботности, хотелось расхохотаться при этом, но я снова удержался.

— Так будьте добры, молодой человек, не откажите в моей просьбе; вас послушаются, вас любят товарищи.

Ему, по-видимому, хотелось польстить мне.

— Хорошо, хорошо-с, — отвечал я ему тоном покровительства, — я постараюсь сделать это для вас.

— Пожалуйста, пожалуйста, вы меня очень, очень одолжите.

Он мне подал руку, я пожал ее с видом покровительства и пошел в другую часть Сокольников, к дачам.

Осьмнадцать лет и полная свобода взяли свое: как мне ни жаль было этого больного чудака, когда он был предо мною, но, оставшись наедине, я расхохотался… «Лиза-то, Лиза какие победы. делает! И ведь ничего не скажет, шельма эдакая!.. Ну, погоди же, погоди же, теперь за все расплатишься!..»

Уж как это случилось, я не знаю, но вскоре все мои товарищи знали про это и, по обычаю молодости, приняли дело совершенно с другой стороны. Как я ни убеждал их, ни уговаривал, они затеяли сыграть какую-то штуку над бедным, влюбленным стариком. Мы как-то разделились с этого времени и пошли по

разным дорогам, мне более всего хотелось подсмотреть, когда и как проводит он время с Лизой, что они говорят, как она к нему относится и т. п. — молодежь же, товарищи, затевали что-то другое. Сколько я ни сторожил, мне никак не удавалось застать старика у Лизы — он постоянно, почти целый день, сидел на скамейке против столов, на которых торговала она, и не сводил с нее глаз; он смотрел, кто бывал у ней, как и с кем она говорила, и все ощущения, все страдания его отражались на его лице, он как бы подвергал себя добровольной пытке, которая сделалась его необходимостью. Как-то я улучил время и утром, когда еще на «Волчьей долине» почти никого не было, застал Лизу одну. Старика также не было.

Она что-то прятала в тележку, на которой обыкновенно привозятся самовары и посуда, и не была даже нарядно одета, как обыкновенно одеваются самоварницы, но в простом ситцевом платье, совершенно по-домашнему; девушка от этого костюма казалась еще лучше. Действительно, Лиза была прехорошенькая полугородская, полудеревенская девушка, тип ее был привлекательный: высокая, стройненькая, с густыми черными волосами, с длинною косою, с темными навыкат глазами, с миниатюрным, свеженьким, румяным личиком, с бойкими чертами и немножко вздернутым носиком, она производила очень выгодное впечатление; при дальнейшем знакомстве ее несколько портила небольшая сутуловатость и большая вялость…

Встретила она меня на этот раз не совсем ласково.

— Есть чай, Лиза? — спросил я ее.

— Какой еще чай — рано; еще не все вывезли.

— Как не все, а это-то что? — я указал на тележку. — Не все, трубы нет, да и прибор не весь.

— Ну нет, так на нет и суда нет. Спички есть?

— И спичек нет.

В это время к нам подошел молодой парень с сигарами и папиросами, которые и до сих пор во множестве торгуют в Сокольниках, малый молодой, белокурый, с природно вьющимися кудрями, с загорелым и сумрачным, серьезным лицом. Он, видимо, слышал мой вопрос о спичках.

— Коробку, что ль, прикажете? — обратился он неожиданно ко мне, смотря сердито и неприветливо.

— Давай коробку, — выговорил я невольно. Он подал.

— Много ли?

— Что пожалуете.

Я бросил ему какую-то мелкую монету, закурил папироску и пошел прочь, «сигары-папиросы» остался с Лизой. Удаляясь, я слышал, что он что-то проворчал, потом мне послышался

крупный и грубый разговор его с Лизой.

— Что ж мне делать, что же мне с ними делать? — слышался ее пискливый голосок.

«Ну, это еще нечто новое, — подумал я, — бедный старикашка!..» Я отошел несколько подальше и сел на одну из лавочек; между высокими соснами вдали виднелись и тележка Лизы, и она сама, и белокурый детина. Лиза, понурясь, стояла над тележкой; ее тон-кии профиль резко выделялся на светлой полосе дыма, который валил из самовара, «сигары-папиросы» стоял ко мне задом, как-то избоченясь и передергивая свой ящик с сигарами, мне так и рисовалось его грубое лицо, хотя я его и не видел, он все продолжал кричать на Лизу, потом зачем-то схватил ее за руки и, должно быть, жал или ломал их, потому что Лиза раза два вскрикнула; я уже хотел было бежать к ней на помощь, но белокурый детина толкнул ее от себя, плюнул ей вослед и пошел прочь… Лиза закрыла фартуком глаза и пошла прочь…

Первым моим движением было пойти к ней, но чтобы не встретиться с этим ужасным «сигары-папиросы», я почти вбег бросился по дорожке, чтоб обогнуть сарайчик, где даются вечера, и встретить ее у выхода, но, пройдя скорым шагом небольшое пространство, я встретился с отправляющимся на свой обычный пост старикашкой.

— Куда вы, куда это вы? — и он почти загородил мне дорогу.

— Постойте, постойте! — ответил я ему, и по-видимому, оставил его в недоумении.

Я едва нагнал Лизу.

— Лиза, Лиза! Скажи, что такое, за что тебя обидели?

Но она ничего не ответила на мои воззвания, повернула было ко мне голову, махнула рукою и пошла дальше.

Зло взяло меня на нее, я также отвернулся от нее и пошел к старикашке.

Я подходил к нему тихим и спокойным шагом; он сидел на обычном своем месте и с видимым нетерпением смотрел в ту сторону, где обыкновенно торговала Лиза. Увидев меня, он еще с большим нетерпением обратился ко мне, и взгляд его и вся фигура так и проникли напряженным любопытством.

— Что это с вами случилось такое, батюшка? — заговорил он, как только я подошел к нему. — Куда это вы так устремлялись, куда это так?

Я сел около него, отдохнул немного и все по порядку рассказал ему. Надо было видеть, что делалось во время моего рассказа с его болезненным, истомленным лицом: каждое слово, казалось, ножом вонзалось в его сердце, и он, по-видимому, равносильно чувствовал эту боль и только что не кричал. В

выражении его лица смешивались и ревность, и злоба, и какая-то безнадежность, близкая к отчаянию.

— Ломал ей руки? — спрашивал он меня.

— Да… жал, знаете, эдак, она даже вскрикнула два раза.

— Потом ударил?

— Толкнул ее от себя.

— Это все равно… И она заплакала?

— Да, по-видимому: закрыла глаза фартуком.

— Ну, да, да! — плакала, плакала! Ах, как бы нам повидать ее? Знаете что, молодой человек, пойдемте к ней вместе, когда она воротится, сделайте мне это одолжение, мне одному-то неловко эдак, неловко, знаете.

Мне и самому хотелось увидать Лизу, а потому я охотно согласился. Старикаша (так мы его звали в то время) пожал мне руку и с напряженным вниманием стал смотреть в ту сторону, откуда должна была показаться Лиза.

Вскоре она действительно пришла, одетая, как и обыкновенно, нарядно и щеголевато, и, по-видимому, как ни в чем не бывало, как и всегда, несколько задумчивая и вялая.

— Пойдемте! — обратился ко мне старикаша, взяв меня за руку и как-то судорожно сжав ее. — Пойдемте!

И он, оглядываясь робко по сторонам и как бы боясь, чтобы кто не увидел его, хотя Сокольники были еще совсем пусты, стал вместе со мною пробираться к тому месту, где стояли столы Лизы.

— Пойдемте, батюшка, пойдемте! Утешим ее! Мы подходили уже к ней; Лиза накрывала стол цветной салфеткой и украдкой смотрела на нас. Старикаша поместился на самой ближней к выходу, принадлежавшей ей, скамейке.

Как бы это, батюшка, позвать ее сюда, а, как бы это? Закурите-ка, подите, у ней папиросочку, как вы это всегда делаете, и шепните ей, чтоб пришла, пусть для виду, и самоварчик нам поставит.

Я подошел к Лизе. Она приняла меня очень недружелюбно.

— Что вы лезете, ну что вы лезете ко мне? — обратилась она ко мне.

— Чего ты злишься, Лиза? Самовар нужно.

— Ну подам; уйдите только Христа ради, Христа ради уйдите!..

— Да что с тобой, скажи на милость?

— Ах, да уйдите, уйдите от меня!

Она как-то робко оглядывалась… Я взглянул в сторону — невдалеке от этого места, около пустого, еще не покрытого стола, сидел давешний детина «сигары-папиросы», он, по-видимому,

спал или притворялся спящим: кудрявая голова его покоилась на локтях, которыми он расположился на столе, пред ним стоял недопитый полуштоф, на траве рядом валялся его ящик с сигарами, который обнюхивали две-три сбежавшиеся собаки.

«А, вот оно что!» — подумал я и подошел к старику.

— Он здесь! — шепнул я ему.

— Кто он?

— Ну, вот эти «сигары-папиросы».

— А! Где же он, где?

— Вон там, у стола.

— Можно на него посмотреть?

— Я полагаю… пойдемте.

— Да он ничего… ничего он?

— Он спит.

— А, ну это ничего… Пойдемте.

Мы встали и вышли несколько на площадку… Но так как уже начали сбираться и другие самоварницы, то старикаша, чтоб как-нибудь маскироваться, довольно громко сказал, обратясь к Лизе:

— Послушай, Лиза, что же ты это, что же самовар-то?

— Си-ча-а-ас! — ответила она протяжно и так же громко.

«Сигары-папиросы» поднял голову и оглянул все кругом. Лицо его было красно, вероятнее всего, от водки…

— Пш, вы! — крикнул он на собак, перевесившись нетвердо, достал сигару и налил стакан водки.

— Фу, какой страшный! — прошептал старикаша и попятился назад.

— Пойдемте, пойдемте, — тащил он меня назад. И жалко, и смешно было видеть его в эту минуту: избледна-желтый, с блуждающими глазами, в камлотовой шинели, застегнутой доверху, в картузе с большим козырьком, он походил как бы на сумасшедшего, убежавшего из больницы.

— Лиза, Лиза! Дорогая ты моя! — прошептал он, подходя как можно ближе к девушке, которая несла самовар для нас. — Драгоценная ты моя! Обидели тебя, бедную! — И столько было в этих словах нескончаемой любви, столько душевной муки, что нельзя было в то время равнодушно смотреть на этого человека.

_ Лиза, маточка! — продолжал он, подходя с ней к столу. — Дай нам чайку, голубушка… и… сливочек подай. — И он с такою нежностью смотрел на нее, что грешно бы было и смеяться над ним.

— Ах, Василий Васильич, как вы мне надоели, ужасти! — проговорила девушка. — Кажись бы, и рубля вашего не нужно.

— Да чем же, милушка ты моя, чем же я надоел-то? — Он, кажется, и забыл про меня.

— Тем, что смерть мне от вас приходится! Вот чем!

— Смерть? как смерть? какая смерть?

— Какая смерть! Настоящая смерть, хоть утопиться иль зарезаться!

И девушка круто повернулась и пошла прочь. Старикаша так и опешил.

— Что, что такое она говорит? Как утопиться, как зарез…

Голос его оборвался, в нем слышались слезы…

— Смерть из-за меня, смерть! — твердил он. — Господи! Что ж это такое?

— Успокойтесь, Василий Васильич, — это она так; так, знаете, сбрехнула…

— Нет, нет, не… не сбрехнула, она это заправду… Слышите, слышите! — схватил он меня за руку. — Слышите, как он ругает ее?

Действительно, запьяневший детина с «сигарами, папиросами» ругался на всю рощу.

— …Шельма! За тем только и в рощу вышла!.. К тому только и на свет рождена!.. Ишь, красавица… разрядилась! Не верьте ей, честные господа, обманет, как вот меня обманула. Всю зиму водила, протянула до осени. Всего из-за нее лишился… Вот в какую коммерцию попал!.. Поддержите, господа, коммерцию!

Он стал обращать на себя внимание: собиралась толпа, которая после него видимо интересовалась и нами.

Старикаша съежился.

Что тут делать, батюшка, а? Ведь скандал может выдти, а? Скандал ведь. Я лучше с ним ужо, ужо переговорю, прямо, честно переговорю…

Ишь ты, старичка какого подцепила! Она знает, кого подцепить… — продолжал голосить детина. — Кто больше даст, того и она… Целую зиму водила, а я не то, чтоб с какими-нибудь намерениями, а честным образом, я жениться хотел на ней.

— Полно-ка ты, полно! — вступилась за Лизу пришедшая мать ее. — Жениться! Да кто пойдет за тебя: ни кола, ни двора — тебя же придется одевать да обувать…

— Молчи ты, старая черр…товка! — крикнул детина. — Молчи — ты ей первая потатчица. Старичок почтенный, береги от них свои деньги! — продолжал он. — Они оберут тебя… береги, брат, эй, береги! Ты слушь-ка! — Он встал и подходил по направлению к нам, покачиваясь.

— Пойдемте, батюшка, пойдемте! — с испугом вскрикнул мой старик. — Я лучше с ним после, ужо, я с ним честно переговорю…

— Лиза, — обратился он к девушке, — я ужо!

Мы встали и пошли вправо, чтоб пробраться задами.

— Э, видно, сбрендил, брат! — детина. — Влюблен тоже… ха, ха лишился, ха, ха, ха!

Мой старик был совершенно уничтожен этим происшествием; он как бы еще более похудел в это время, лицо его осунулось, глаза беспокойно прыгали в своих орбитах.

— Погоди же, я уже один на один расправлюсь с этим грубияном, погоди, ужо узнает он у меня, — шептал он со злобой, — погоди!..

Вышедши к дачам, мы с ним расстались.

Вечером мне не пришлось быть в Сокольниках: ездил я куда-то к знакомым на дачу. Утром, желая узнать, чем кончилась эта история, я пошел к обычному месту, которое обыкновенно занимал мой старикан; прихожу — нет его, я к Лизе — и ее нет, нет даже ни тележки, ни матери, которая обыкновенно разводила, или, как это говорится, ставила, самовары.

«Придут, мол, вероятно, — подумал я, сел у одного из ее столов и закурил папироску, — за погодой, вероятно!» Действительно, погода была сырая, сумрачная, август уже приближался к половине, и день выдался совершенно осенний: моросил мелкий дождь, ветер гулял по роще, качая со свистом сосны, звуки где-то гудевшей шарманки доносились какими-то отрывками- но, несмотря на то, кое-кто еще бродил по роще и чайницы ко всем и к каждому подходили со своей обычной фразой: «Барыня, не чай ли кушать? Что ж, самоварчик-то прикажете?» — и т. п.

Одна из них подошла и ко мне, но, увидев меня поближе, она изменила эту обычную фразу на другую.

— Вы, должно быть, Лизу, барин?

— А что?

— Да то, что она нынче не выйдет.

— Почему?

— А вы разве не слыхали, вчера-то любезного-то ее до полусмерти избили, пожалуй, и жив не будет.

— Какого это любезного?

— А вот этого-то старичка-то почтенного, что с вами-то хаживал.

— Василия Васильича?

— Ну да, кажись, так его звали-то.

— Так это разве ее любезный?

— А как же, она еще с самого начала лета с ним сошлась, виду-то только не подавала.

— Кто ж его избил?

— А вот Иван Кудрявый, что папиросами-то торгует… И Боже

ты мой, как он тузил его! Значит, он вчера пил целый день, так спьяну-то так его тузил… беда! Насилу отняли.

— Это он его вечером, что ли?

— Так, вечером, темно уж было, как они переведались… Он это, старик-то, начал его усовещивать, слово за слово, разговорились таково крупно, тот его и ударь, потом подмял его под себя и давай тузить… Насилу отняли его, ни жив ни мертв, так рассвирепел.

Остальное мне было понятно.

Я почти бегом побежал на дачу к Василью Васильевичу… Проходя мимо будки, я увидел большую собравшуюся толпу и полицейских; в чулане, приделанном к будке, без окошек и без дверей, раздавались ругательства и крики Ивана Кудрявого, который вопил, что у него отняли невесту, любовь и жизнь его отняли и что избили его, истиранили… Один из полицейских вышел из будки и вынес оттуда ящик с сигарами и папиросами.

— Надень, брат, на ремень, да и ступай по роще! сказал кто-то из толпы.

— Сигары, папиросы хорош! — крикнул какой-то мальчишка.

В чулане послышались новые вопли и ругательства.

— Ну, подходи, подходи смелее! — понукали друг друга полицейские. — Приготовьте веревку-то, чтоб сразу накинуть на него… Вишь ведь зверь какой… Ну, подходи!

Я поспешил уйти от этой сцены и пошел на дачу Васйлья Васильевича.

Там другие сцены: в передней меня встретила мать Лизы и, по-видимому, доктор, которому она подавала шинель.

Ну, уходил-таки он его! — говорил он. — Поубавил ему веку, пожалуй, и не встанет.

Старуха причитывала и притворно плакала.

Я прошел в комнату Васйлья Васильевича… Тут я встретил Лизу, с такими же, по-видимому, притворными восклицаниями.

— Что, Лиза, уходили старика?

— Ну, вот и уходили, я-то чем виновата…

— Можно его видеть?

— Ступайте.

Я вошел в следующую комнату — спальню Васйлья Васильевича; там он лежал в своей постели, высоко обложенный подушками, около него на полу стоял таз, наполовину полный кровью; он глядел совершенным мертвецом.

«Плохо дело!» — подумал я и подошел к нему. Он силился подать мне руку… Я сел около него на постели.

— Я… я… я все ему высказал! — проговорил он мне слабым голосом…

Старик с трудом дотянул до осени; в первых числах октября он переселился туда, где его чистая, искренняя любовь, вероятно, лучше поймется. По духовному завещанию все свое имущество он оставил Лизе. Она, по его смерти, сошлась с кудрявым Иваном, и, говорят, где-то сняли овощную лавку. Меня уверяли, что вся эта история, побои насмерть и ее связь со стариком была стачка между ними, и может быть, да и вероятно, они и до сих пор преспокойно поживают да добра наживают: у нас таким людям везет.

Ну, читатель, не знаю, доволен ли ты моей идиллией, я вместе с тобой хотел на время позабыться в «красных вымыслах», а рассказал тебе грустную историю; хотел напомнить карамзинскую Лизу, а нарисовал Лизу современную… Свалим эту вину на время: кто же, в самом деле, виноват, если оно задает такие грустные тоны!

КУПЕЧЕСКАЯ ДОЧКА И МАТУШКИН СЫНОК

Повесть

I

Местность от Смоленского рынка, как известно москвичам, довольно круто спускается к Москве-реке и Драгомиловскому мосту. Местность эта, разделяющаяся на две дороги, — одну к Плющихе и к Девичьему полю, другую к Драгомиловской слободе, составляет как бы край города, но весьма населена, оживлена бойким рыночным движением и очень красива… Особенно хорош вид с так называемой Замятинской горы, которая футов на тридцать подымается над Москвою-рекой и открывает на обширном расстоянии виды и ландшафты один другого прелестней: вправо рисуется крутой берег Москвы-реки с лепящимися на нем строениями, из которых некоторые держатся на сваях, как бы в Голландии, и смотрят весьма красиво, хотя, наверное, в них некрасиво жить; старинной, готической архитектуры церковь Благовещения на Бережках белым силуэтом, блестящими главами и черными впадинами окон стоит над этими строениями; на горизонте тянутся сплошной темной массой Воробьевы горы, с своими высокими елями, а внизу извилисто течет Москва-река — вид прелестный, хотя — говорю с полною уверенностию — немногие из москвичей знают его. Другой соперник ему, хотя в другом жанре, — это вид из Кремля, спускаясь к Боровицким воротам, тоже на Москву-реку, на прелестнейшую картину Замоскворечья, с одной стороны, правый берег Москвы-реки, с другой… Фотографу нечего делать с этими видами, они особенно хороши теми красками, неуловимыми для него очертаниями и поддадутся только краскам и кисти… Но у последнего ничего общего с моим маленьким романом, который начался среди первой обстановки.

На углу конца Смоленского рынка и начала Плющихи, против церкви Смоленской Божией Матери, в начале сороковых годов стоял небольшой деревянный дикенький дом и в этом доме была овощная лавочка. Дом этот был мой, а лавочку нанимал у меня некто троицко-посадский купец Никон Федоров… (Теперь этот дом перестроен, перешел в другие руки и лавочка уже не существует.)

Никон Федорович был замечательно добрый и мягкий человек, что вообще нечасто между нашим простонародьем, кроме того, он был человек созерцательный и любил природу, и я нередко встречал его под вечер пред тем видом с Замятинской горы, который я очертил вначале… Стоит, бывало, и смотрит…

— Что, Никон Федорыч, — спросишь его, бывало, — любуетесь?

— Да, батюшка, вот смотрю и не насмотрюсь на Божью красоту — на душе-то от нее таково сладко становится; оторвешься эдак сюда от наших мотыжных дел, ну и отдохнешь…

И действительно, лучшим удовольствием его, к неудовольствию жены, была эта прогулка; иногда любил он также пройтись на Драгомилово кладбище, куда нередко брал с собою дочь свою Варю, хозяйка же его оставалась в лавке…

Жена, или хозяйка, Никона Федоровича Анна Тимофеевна представляла собой довольно чистый тип московской лавочницы — бойкая на язык, задорная, она действовала в лавке шумней его самого, хотя, по-видимому, и уступала его всепримиряющему влиянию, когда он сам бывал в лавке; тогда она, в своей беличьей шубке с хвостиками, красовалась в дверях лавки, а покрасоваться ей было чем: баба была ражая, высокая, дебелая, что говорится, кровь с молоком, и притом чернобровая и черноглазая.

Иногда кроме этих лиц в лавке являлась еще дочь их Варя — девочка лет шестнадцати, которая ярко отделялась от всего окружающего трудно объяснимой в этом быту изящностию и бойким, смелым, веселым личиком, которое невольно располагало в ее пользу и по которому ее знали далеко в окружности.

Жили они довольно достаточно; Никон Федорыч был известен за человека честного, имел всегда хороший товар и дела его шли весьма порядочно. В воскресный день, бывало, ему отбоя нет от приезжих мужиков и весь двор запрудят то телегами, то санями, смотря по времени года.

Сам я не жил в этом доме и бывал в нем вообще не часто, только в последнее время стал я почаще навещать его, в намерении продать его и имел поблизости покупщика… Варю я редко видел: ее все как-то не было дома, и раз, встретивши, совсем не узнал ее — так она выросла и похорошела.

Увидал я ее в лавке: она зачем-то сошла к отцу; Никон Федорыч был в это время за прилавком и отсчитывал кому-то медь в сдачу.

— Никон Федорыч, что это за барышня приходила к тебе?

— Которая?.. — он продолжал отсчитывать медь.

— Ну, вот что сейчас-то была.

— Эта-то… Аль не узнал?.. Это ж Варенька.

— Это дочь-то твоя?

— Она самая.

— Ну, брат, совсем не узнал…

— Извините, что медью… серебрецо-то ныне редко, — отпустил он покупательницу и потом обратился ко мне: — Так не узнал?..

Никон Федорыч имел обыкновение, когда он разговаривал с своими близкими знакомыми или людьми, к которым он имел расположение, брать руку в свои полные и теплые руки и во все продолжение разговора он как-то гладил и грел вашу руку… Так точно он поступил и со мной.

— Так не узнал? — повторил он в другой раз.

— Да, выросла, похорошела… Премилая девушка!

— Да, братец, настоящая уже девушка — невеста уж, друг любезный, а за кого отдать ее теперь — и не придумаешь.

— Что же так? У тебя есть чем выдать.

— Не в том дело тут, не в деньгах… Давно я хотел поговорить с вами об этом деле. (Никон Федорыч говорил мне иногда вы, иногда ты, этим даже можно было угадать его настроение: когда он был серьезен, н всегда говорил вы.) Зайдите ко мне на минутку, сделайте милость, больно нужно переговорить с вами, да кстати и чайку попьем, вчера свеженького цибик получил).

— Изволь, брат Никон Федорыч, с удовольствием, немногу, рад помочь.

— Ну… благодарим покорно!.. Митька! Скажи-ка, чтоб самовар поставили, да скажи хозяйке, чтоб в лавку, мол, да и Вареньке скажи, что, мол, тож сюда бы сошла… Пока хоть к барыне ее спроважу, чтоб, значит, на слободе, — обратился он ко мне, — дело-то такое!

Варя, по-видимому, была даже рада этому случаю: она так живо сказала: «Так я пойду!», торопливо раскланялась со мною и быстро, почти бегом, вышла из лавки.

— Что, батюшка, дела такие, что голова кругом идет! — обратился ко мне Никон Федорыч, когда мы вошли в его квартиру, помещавшуюся тут же над лавкой и вход в которую был из той же лавки, мимо груды баранок, которые лежали целой грудой и целый день будто не убавлялись.

— Да что за дела такие, торговля, что ли?

— Нет, не то, торговля идет себе понемногу, нечего Бога гневить, совсем другие дела: с дочерью вот не знаю, что делать.

— Что же такое? Кажется, она такая хорошая девушка и притом прехорошенькая… Такой товар не залежится.

— В том-то и беда, что хорошенькая, — это одна из ее бед, да

кроме того и другие есть…

— Да что такое?

— Пожалуйте-ка чашечку, — пододвинул мне чашку чая Никон Федорыч. — Ах ты, Господи! Творец милостивый! Думаешь, побольше-то поживешь да потрудишься — легче будет, а выходит, что дальше, то тяжелей.

Выражение лица Никона Федорыча, обыкновенно добродушного, полного, с небольшой мягкой темной бородой, окаймленного такими же темными и мягкими волосами, видимо как-то отуманилось, и в его карих глазах заметно глянула грусть.

— Да ты полно вздыхать-то, — ободрил я его, — всякому горю можно помочь, неужели твое непоправимо?

— Оно хотя еще и не совсем горе, пока еще полгоря, а вот и то не придумаешь, как поправить его… Заботит меня дочь больно: вот видишь ли, живет вот тут неподалеку барыня, княгиня, что ль, какая она, не знаю, только, говорят, барыня высокая, но не богата..-Приезду у ней никакого нет, детей тоже нет и житья-то бытья пансион только один; ну вот и скучно ей, живет же она с какой-то старухою, она у ней и хозяйством, и всем заведывает и у меня часто бывает; вот это она и пристала к жене, чтоб Варю мою к ней на побывки отпускать, к барыне-то, для конпанства, значит. Спросили меня… Ну, что ж, думаю, пусть ходит, дурного тут ничего нет, года два тому назад время этто было, я и отпускал… Жена моя потом познакомилась с барыней, и как-то в воскресенье барыня пожелала и меня повидать. Честь честью, пошел я к ней и жена со мной. Посадила тогда меня, посадила этто и учала приставать, чтоб отдал Варю в пансион, чтоб беспременно, что она и вострая, и понятная, и то, и другое. И барыня-то пристает, и жена. Я было и того — уперся: куда, говорю, нашему брату на одну ногу с барами становиться, и то и се им в резонт привожу, а они и слушать не хотят — отдай да отдай. Я об этом разе слова им никакого не дал; подумаю, мол, такого дела нельзя же сразу решить. Пришел домой, подошла этто ко мне Варя: «Тятенька, говорит, отдай, я учиться хочу…» Ну что ты с собой тут поделаешь, не чужое что-нибудь тут говорит, своя же кровь, разве устоишь?.. «Ну, ладно, мол, ладно, только отстань», и на другой день сам же пошел благодарить барыню… за ее милость…

— Ну что ж, брат, это дело не худое, если она получит некоторое образование.

— Эх, друг ты мой милый, для кого как, да и какого рода эта наука… Иной раз… Господь Бог ведает, а она что-то не впрок идет.

— Ну полно, полно, Никон Федорыч, это ты уж заговорился… Наука никому во вред не идет.

— Какова наука!.. Как я посмотрю, в пансионах этих так только для виду это все наукой-то называется, основательного-то ничего нет, фундаментального-то ни слова Божия, ни нравственности! Да и вообще, брат, нужно все это сообразно с обстоятельствами… Да! С обстоятельствами сообразно!.. Ну, что теперь хоша дочь? Барышня не барышня, купчиха не купчиха, а мы-то и всего только еще мещане, а уж поди ы, и язык этот французский, и танцы… Она у меня славная бы девка была — мужу жена, дому хозяйка, еперь что я с ней будут делать, она и на меня-то будто уж не на равного смотрит

— Ну вот еше пошел городить, в чем ты это замечаешь.

— Во всем замечаю? Во всем замечаю! Как есть во всем. Да что и говорить, все дело, вся жизнь ее испорчена, да так испорчена, что, кажись, и не поправишь…

Все слова, все доводы Никона Федоровича звучали такою убедительностию, что возражать ему было трудно. Я только попытался возражать ему и кончил тем, что попросил у него времени убедиться в сказанном им…

— Убеждайся… Да что тут, дело трудно поправить! А может, что-нибудь и придумаешь — ум хорошо, а два лучше.

II

Проходя после этого разговора в раздумье Смоленским рынком, я, однако, не мог в этот и последующие разы не заметить, что мне постоянно кланяется молодой, белокурый, как говорится, кровь с молоком, весь в завитках, парень, который во время моего прохода как-то ухищрялся быть у притолоки большой, двухрастворчатой овощной лавки.

Раз прошел — кланяется, два — то же самое. В третий раз, при повторившемся поклоне, я довольно внимательно посмотрел на него, оказалось, что прежде нигде не встречался с ним. Как-то раз, возвращаясь от Никона Федоровича (в последнее время я бывал у него довольно часто: меня стала интересовать судьба Вари, а может быть, и сама Варя — это всегда как-то близко), пройдя упомянутую овощную лавку и не заметя в ней на этот раз молодого парня, перейдя улицу и поравнявшись с одним трактиром, я был остановлен упомянутым парнем, как оказалось, приказчиком означенной лавки.

— Милостивый государь, господин… (он назвал мою фамилию, я остановился) — позвольте вас попросить на стаканчик чаю, не побрезгуйте, дело есть та-кое-с… душевное… не откажите… заведение-с чистое… особую комнатку займем-с.

И он уже стоял у двери «ресторации», даже приотворил ее.

Я молча пошел. Он ловко пропустил меня вперед и потом быстро побежал за мною, скидая на ходу темный коленкоровый фартук.

— Комната есть?

— Имеется, пожалуйте-с…

Мы прошли где-то за игравшей машиной и вошли в небольшую комнату с голубыми обоями.

Было Вербное воскресенье. На дворе начиналась весна. Река прошла, и в комнатах с невыставленными окнами было особенно душно; в трактире, наполненном народом, духота была еще ощутительнее.

— Эх, жаль-с, окошечка-то нельзя открыть-с, — начал Сергей Тихонов (так звали этого приказчика). — Дай-ка, Ваня, четыре пары чайку получше… Сливочки изволите употреблять-с?

— Нет, лимон.

— Лимончику и миндального молочка принеси… Не прикажете ли сигарочку?

— Нет, вот папиросы…

— Слушаю-с… Свечку калетовскую смотри…

Во всей фигуре, в приемах, в речи, переносившейся с одного предмета на другой, в самой манере речи так и слышались и нетерпение, и замешательство, но, несмотря на это. он все-таки дождался, пока был подан чай и половой вышел из комнаты. Он встал, посмотрел на дверь и воротился к столу.

— У меня к вам есть наиглубочайшая просьба…

— Что же такое и с кем имею честь…

— Я-с приказчик, — перебил он меня, — приказчик из лавки купца Большакова — Сергей Тихонов… и так как-с после великого праздника имею в намерении отойти от хозяина, потому в начале поста, получивши небольшое наследство, для первоначального заведения достаточное, то и прибегаю к вам с моею всеусерднейшею просьбою…

— В чем же ваша просьба?

Изволите видеть… я то-ись, пожалуй бы, еще и не отошел от хозяина, да при нем мне не у чего оставаться, потому человек слабый и все дело с давних пор в запущении, хозяйка же женщина разгульная, две дочери-невесты тоже девушки разгульные, так что совсем оставаться не у чего — того и гляди, лукавый на грех подтолкнет либо люди по злобе обнесут…

Так вы хотите отойти?

Точно так-с… Но тут еще есть одна такая статья, которая соображения требует-с… Об ней-то, собственно, я бы и хотел переговорить с вашей мипостью.

Вся речь, тон, манера говорившего дышали такою искренностью, в нем сказывалась такая честная природа, желание его выбраться на лучший путь было так естественно и законно, что я слушал его с удовольствием. Кроме того, открытое, чисто русское лицо его с темно-серыми глазами, чистое, здоровое, румяное лицо, с белокурыми кудрями и очень небольшою, совсем светлою бородкой очень располагало к себе.

— Что же это за статья? — спросил я.

— Статья… изволите видеть, она-с довольно то есть щекотливая-с… — продолжал он, слегка вспыхнув, — она точно-с, собственно говоря-с, стыдиться нечего — дело не то чтобы какое дурное-с, а все как бы немножко стыдоба берет-с. Ну да все равно-с, за тем и звал вас, чтоб сказать… Вы ведь-с изволите знать Никона Федорыча?

— Ну, как же, знаю…

— Я ведь знаю, что знаете, — человек он известный и обо мне известен и обо мне знает-с, что я состояньишко некоторое получил; только вот намерения мои ему неизвестны…

Он так обходил и боялся высказать главную тему своего рассказа, для него она так казалась щекотлива и притом так была она понятна, что я решился помочь ему.

— Ваше намерение я понимаю, — сказал я ему, — и готов поговорить с Никоном Федоровичем…

— Сделайте Божескую милость! Облагодетельствуйте! Не забуду до гробовой доски!.. Потому жена в нашем звании — всей жизни основа, жена — хозяйка, присмотрщица, это половина самого себя, для того, где найдешь нынче верных людей, на кого положиться?.. Кроме того, я души не чаю в Варваре Никоновне, по мне нет на земле краше ее… Ходят к нам в лавку и купчихи, и барыни, и барышни… гляжу, гляжу, нет, все не то-с, выглядки такой нет.

— Но вы знаете, что она ведь в пансионе была?

— Как же-с… Я всякую безделицу про них знаю, не только что это, и не только что это в порок, по своим понятиям, я им ставлю, но еще более меня прельщает в них это. Это, значит, будет такая жена, с которой я куда угодно показаться могу — гордость и важность моя в ней будет…

— Но не рано ли для нее замужество, она еще так молода?..

— Помилуйте-с — по нашему званию теперь-с в самой поре-с…

Вскоре после этого я распрощался с Сергеем Тихоновым, обещавши сообщить ему результаты моих переговоров с Никоном Федорычем.

III

«Что это за барыня? — начинало мучить меня любопытство после этого разговора. — Надо необходимо узнать, что привязывает так в ней Варю… Если это существо какое-нибудь действительно филантропическое, то надо с ней сблизиться, чтобы вместе помогать Варе и Тихонову, — если что-нибудь противоположное, надо стараться отстранить это влияние».

С этой мыслью я вскоре после свидания с Сергеем Тихоновым в трактире отправился к Никону Федоровичу.

Была Страстная на исходе; на рынках, а в том числе и на Смоленском, довольно значительном рынке, замечалось особенное предпраздничное движение; выставка пасок, куличей и красных яиц на каждом рынке и почти в каждой овощной лавочке придает преддверию этого великого на Руси «праздника из праздников» особенный вид; люблю я в это время бродить по улицам, по рынкам: немало встретишь картин и групп, чисто русских, родных, не лишенных поэзии, — они как бы слегка дадут возможность убедиться, что хотя на короткое время укладывается в приличную форму наш нестройный, неуклюжий домашний и семейный быт и что не совсем сгинули на Руси среди современной безурядицы хорошие обычаи старого…

Между прочим с этою целью «брожения» отправился я и на Смоленский рынок, где зашел и к Никону Федоровичу.

В его лавочке также была выставка пасок, куличей, яиц крашеных, выставленных наружу в окоренках, в ведрах, на столиках… Подгородные крестьяне, солдаты из близлежащих казарм, всякий бедный народ копеечный так и кишел в лавке и около… Между прочим нужно было и поболее дозору, а потому в лавке была Варя. Красным солнышком между сизых туч казалась она среди окружавшей ее обстановки… Бойкое, выбегающее личико особенно ярко било в глаза ее небольшими, но живыми, блестящими, черными глазами, черные волосы, причесанные гладко, без всяких претензий, как нельзя более шли к ее смуглым, с ярким румянцем щекам; бойкость, веселость и свежесть придавали ей особенную прелесть, и все это под простым недорогим шелковым платочком на этой хорошенькой головке… Мне почему-то, глядя на нее, вспомнился некрасовский стих:

Из-под брови твоей полукруглой
Смотрит бойко лукавый глазок…—

и вместе с тем приходили на память слова Сергея Тихонова: «Ходят к нам купчихи, ходят барыни, барышни — хороши, а все не то». Действительно, не то — своеобразная, бойкая, народная красота была в этой лавочнице Варе.

Видя, что Никон Федорыч занят, я подошел к нему и спросил адрес «барыни».

— Зачем тебе?

— Нужно уж… Ты скажи…

— Сам, что ль, пойдешь?

— Сам пойду… Да скажи мне, кстати, она ведь покупает дома?

— Покупает. Свой, что ль, хочешь продать?

— Я от твоего имени.

— Ладно. Заходи опосля.

— Да ведь ты занят…

— К вечерку-то будет послободнее.

— Хорошо, зайду…

Я отправился по сказанному адресу и вскоре позвонил на дворе у двери с покосившимся деревянным навесом.

Отперла мне старуха в ситцевом платье, с косым пробором, со сморщенным, но еще бодрым и очень насмешливым, так сказать, сардоническим выражением лица… Выражение это как-то особенно ярко бросилось мне в глаза.

— Кого вам угодно? — спросила она, прямо мне глядя в лицо.

— Аполлинарию Матвеевну.

— По делам, что ли?

— По делам.

— Пожалуйте!

Я вошел по лестнице, сначала в тесную переднюю, потом в довольно обширный зал, потом снова в узкую, проходную гостиную.

В зале было несколько молодежи, между которой очень громко спорил и кричал и как-то ухарски повернулся и чрез стеклышко посмотрел на меня довольно рослый малый, лет под двадцать, одетый франтом, но особенно пестро, и с ног до головы проникнутый особым купеческим фатовством.

Это, как оказалось, был сын богатого купца Степан Васильич Лягавин.

Тип подобных «господчиков» явился у нас лет десять, двенадцать, когда купцы начали отдавать детей в какие-либо, большею частию частные учебные заведения, где большинство из них, набравшись внешнего лоску, нахватавшись всяких верхов, приняло их за образование и, одевшись франтовски, вставивши стеклышко, начало разыгрывать роли передовых своего сословия; они разорвали всякую связь с каким бы то ни было преданием, ничего не выстрадали, ни в чем крепко не уверились, а, отнесясь с полною пошлостию к новизне, в кутежах заявили, что они,

дескать, люди образованные.

Купеческие сынки уже до тошноты пошло заявили с этой стороны себя, и Степан Васильевич, что было заметно с первого взгляда, принадлежал к этому роду людишек.

К особенному несчастью Степана, у него не было отца, который хотя сколько-нибудь его сдерживал бы, а живя при матери — старухе доброй и бесхарактерной — он творил, что хотел. Как и всегда водится, он искал высшего общества и чрез своих собутыльников по «Московскому», между которыми было несколько баричей, попал к нашей барыне. В гостиной я встретил толстую, истинно московскую барыню, в блузе, в токе, жирную и красную.

Аполлинария Матвеевна, как привыкла жить с мо-лоду, так жила и под старость, строго составив себе мнение о том, что, что бы она ни делала, она непременно делала благодеяние, она ко всему относилась с этой точки зрения. По своим укоренившимся привычкам она редко что-либо делала сама, а поручала своей компаньонке Дарье Ивановне, которая делала что хо-ела, уверяя, что сделано так, как этого желала Аполлинария Матвеевна.

Одной из маний последней было сводить свадьбы; ак только увидит она, бывало, хорошенькую девушку так до сих пор и не успокоится, пока не выдаст ее. Она нередко делала это даже с немалым самопожертвованием, но непременно достигала своей цели.

Последнею из замеченных ею хорошеньких девушек была Варя.

— Так вы говорите, что дом ваш против церкви? — спросила меня старуха.

Я отвечал утвердительно.

— Который же это ваш дом? — продолжала она._

Постойте, вы говорите: против церкви — это тот где еще овощная лавка в два раствора, дикенький-то такой?

— Этот самый!

— Знаю, знаю, как не знать! — протянула она, одув пепел с папироски. — Как же, помилуйте, да у меня в нем еще знакомство есть… Человек хороший.

— Кто же такой?

— Да хозяин овощной лавки, Никон Федорович.

— Вы его знаете?

— Как же-с — благоприятель! Отличный человек; но что всего больше мне у него нравится, это его дочка Варя — эдакий сладенький кусочек, загляденье девочка, я женщина, а просто не налюбуюсь на нее; замуж вот прочу ее — есть у меня один богатенький молодчик на примете — вот на днях сведу их.

— Что вы, помилуйте, да ведь она ребенок еще! — сказал я с удивлением.

— Что за ребенок, смотрите-ка, как она развита, а глаза-то у ней какие! За подобными глазенками только смотри да присматривай, а кому за ней присматривать?

— Как кому — отец, мать…

— Отцу некогда, а матери не до того…

— Почему же?

— Ишь какой любопытный, да мало ли дел-то у нас…

Я более не распространялся: признаюсь, мне неприятно было слышать подобные двусмысленные речи, по-видимому, не имеющие никакого основания; отношения же и этой барыни, и Дарьи Ивановны к Варе наводили меня на раздумье. «Что за странная судьба всего, что только чем-нибудь выдается у нас из общего строя! — думал я, выходя из этого общества после непродолжительного общего разговора о доме, который на этот раз ничем особенным не окончился. — Оно уже как-то невольно обращает на себя внимание, и потом его того и гляди что испортят — вот хотя бы Варя: бойкость, хорошенькое личико, и вот одна хлопочет о воспитании на свой лад, другая уже ищет жениха» Не знаю, почему-то не лежало у меня сердце к этим "благодетельницам; к затеям последней, я еще мог объяснить, почему не лежало оно; к первой же, кажется почему не расположиться, но как-то смутно, как бы в пояснение, звучали за мной и передо мной слова Никона Федорова: «Что может быть им (барам) хорошо, то нам не годится. На все свое время».

IV

Прошло около года… Для человека, нечасто видевшего Варю, этот год, по-видимому, принес ей немного перемен: она как будто была прежняя; мне же, видавшему и заинтересованному в ней, положим, как наблюдателю, но не без участия, было ясно видно, как менялась она, и все быстрее и быстрее, так что к концу года каждый день приносил для нее что-нибудь новое, небывалое.

Пансионское воспитание развило в ней до самой крайней степени самые обыкновенные, самые жалкие претензии: желание рядиться, казаться хорошенькой, кокетничать, играть польки, а еще более — танцевать; это желание доросло у ней почти до страсти; она стала очень странно обращаться с матерью, отвечала ей грубо, с пренебрежением, отца как будто бы стыдилась, и когда изредка, в минуты расположения, он хотел поцеловать ее, она отвертывалась и резко отвечала:

— Ах, уйдите, папенька! У вас борода колется — и зачем вы носите эту бороду?..

На лице Никона Федоровича нетрудно было видеть в это время и грусть, и досаду; более первой, нежели второй; он видимо старался превозмочь себя, переломить и только вместо поцелуя гладил дочку по ее гладкой головке.

— Ну, ну… перестань, — говорил он при этом, — не сердись, я не трону тебя…

Варя особенно жадно читала в это время. Как-то мне попалось под руку несколько книг, которые валялись у ней на окне; выбор книг был самый пестрый: тут и Ростопчина, и Баратынский, Жорж Занд и даже «Муж, жена и любовник» Поль-де-Кока, книги, как я заметил по наклеенным на переплете ярлыкам, были из Купеческого собрания.

Варя застала меня именно в то время, в которое я был занят рассматриванием их. Она быстро кинулась на меня и в полном смысле слова вырвала у меня книгу.

— Кто, кто вам позволил делать это, зачем вы взяли?

— Разве для этого нужно позволение?

— Разумеется! Зачем вы разузнаете чужие секреты?

— Да разве это секрет?

— Понятное дело, вы как раз расскажете, какие это книги.

— А какие? Она засмеялась:

— Вы сами знаете, какие.

— Кто вам доставил их, особенно вот эту, последнюю? — я указал на Поль-де-Кока.

— А вам на что?

— Я спрашиваю только в том случае, если это не секрет…

— Пожалуй, для вас… пожалуй, и не секрет. Послушайте, вот что я вам скажу, я знаю, что вы добрый человек, и папенька вас любит, и маменька… и я ведь вас люблю…

— Неужели?

— Право… только не так, как вообще любят, — поспешила она поправиться, — а так, просто, обыкновенно.

— А вы разве знаете, как и необыкновенно любят?

— Ну, вот вы какой, вам все вдруг скажи… Ну, да пожалуй, извольте, заодно уж. То-то и горе мое, что я необыкновенно полюбила, — горе иль радость из этого выйдет, еще не знаю, а что необыкновенно полюбила — это знаю.

— Кого же, кого же это вы полюбили? — спросил я ее не без волнения и даже не без зависти.

— Кого полюбила-то?.. Ну, нет, это-то еще подожду сказывать, а дайте мне прежде слово, поклянитесь, что никому не скажете, тогда, пожалуй, скажу, но только с тем, чтобы вы

папеньку за меня попросили.

— Как же это: никому не сказывать и папеньку попросить? — спросил я, заметя, что в шуточном разговоре Вари скрыто что-то серьезное.

— Да я уж научу вас, вы только сделайте.

— Ну, научите, научите.

— Нет, вы поклянитесь прежде.

— Ну, полноте, что за клятвы; я дам вам честное слово, и этого будет довольно.

_ Ну, хорошо! Так честное слово, да?

И она протянула мне свою полную и несколько красную руку.

— Честное слово?

— Ну да, честное слово, — отвечал я.

— Ну, хорошо! Только погодите, погодите, я посмотрю, что наши делают; ведь я вам большой секрет хочу открыть, большой…

И она потихоньку сбежала с лестницы и скоро воротилась с накинутым платком на голове и с приложенным к губам пальцем. Она была очень мила в это время: от раскрасневшегося от волнения ее личика так и веяло свежестью, молодостью, девственностию…

— Подите сюда, сюда, подальше отсюда, сядьте вот тут у стола, чтобы внизу ничего не было слышно! — усаживала она меня за столом около окна и потом, севши напротив и положив под руку книгу, вдруг опустила на руки голову и долго ничего не могла промолвить от волнения. Потом она снова приподняла голову и, еще сильнее раскрасневшись, с блестящими глазами, тихо, почти шепотом передала мне, что они полюбились с Степой Лягавиным и что она теперь не знает, что и делать…

— Как так полюбились? — вырвалось у меня невольно.

— Так полюбились, — отвечала она, — полюбились и дали друг другу слово не разлучаться никогда.

Слово «полюбились» звучало для меня весьма загадочно, но я не решался входить в его смысл. Один вид этого Лягавина возбуждал во мне крайнее недоверие к его действиям.

Ну что же вы хотите теперь от меня, Варя? — спросил я ее.

Вот видите, что, — продолжала она, оправля-ясь' он говорил об этом с тятенькой (забывшись, она употребила обыкновенное в этом обществе название), но тятенька и слышать об этом не хочет.

— О чем?

Ах, Да… ну то есть о нашей свадьбе-то! Тут, ˆ сватается за меня один лавочник, овощник, так, тятенька-то, его руку держит; ну, а я наотрез казала, что за лавочника я ни за что не пойду. Это

Сергей Тихоныч?

— Да, а вы разве его знаете?

— Да, знаю…

Но я затруднялся говорить далее; хотя Варя, выше-дши из пансиона и прожив год дома, кой в чем изменила пансионские привычки, но все-таки она еще во многом была барышней, пансион уже наложил на нее свою руку, ее претензии не уменьшались: одевалась она щеголевато, с отцом и с матерью обращалась по-прежнему свысока, больше бывала у барыни, чем дома, хозяйством не занималась, ничего не работала и в своей комнате устроила какой-то особый мирок: украсила стены ее картинами, на этажерке расставила разные безделушки: фарфоровые статуэтки, чучела, бонбоньерки, постлала коврик около постели, вставала поздно; ни в лавку, ни в другие комнаты при отце и матери не выходила, так что в самом деле странно было бы эту полубарыню представить женою лавочника, которому нужна была жена-работница, жена-хозяйка.

— Так вы знаете этого противного Сергея Тихонова?

— Знаю… Чем же он противный? Малый славный, кажется…

— Мужик, как есть мужик! И чтоб я пошла за мужика — ни за что! Для этого, что ли, я была в пансионе? Да меня все подруги засмеют; за тем, что ли, меня в пансион отдавали, чтоб потом за мужика замуж выдать? Никогда этому не бывать!

Она говорила твердо, решительно.

«Дело-то плохо», — невольно подумалось мне.

— Ну, а этот Лягавин лучше, что ли, его?

— Вот что выдумали! Да как же это можно их сравнивать?.. Степа, во-первых, красавец, во-вторых, образованный — щеголь какой! Кроме шампанского, ничего не пьет.

— Ну, а Сергей Тихоныч ничего не пьет, трезвый, трудолюбивый, своими трудами и лавку открыл — да посмотрите, как торгует-то!..

— Важное дело торгует — овощным товаром! А у Степы фабрика, всеми делами распоряжается; у Степы лошади свои, женится, так карету обещал завести…

— Да, Варенька, женится ли он на вас?

— Это еще что? Как же он не женится, когда клятву дал…

— То-то, смотрите…

Но и тут дальше я затруднялся, как говорить с ней, хотя слово «полюбились» приводило меня в смущение. «Надо будет переговорить с Никоном Федоровичем», — подумал я.

_ Ну, я пойду туда, вниз, — сказал я ей.

_ Поговорите же с папенькой.

— Хорошо, поговорю.

_ Пожалуйста, поговорите, голубчик, душенька!..

Я спустился вниз. Дело было вскоре после Святой, когда я особенно любил бывать в этой стороне и любоваться на разлив Москвы-реки, на оригинальные сцены переправы на пароме и на лодках близ разбиравшегося Драгомиловского моста, на месте которого теперь выстроен постоянный — Бородинский.

Никон Федорыч копошился в лавке, которая после долгого поста обновилась красными яйцами, колбасой и прочим скоромным товаром. Он как бы угадал, что мне с ним нужно было поговорить, и, увидав меня, сейчас же снял с себя довольно чистый фартук и стал наказывать жене, чтоб она присмотрела.

— Ладно, посмотрим, ключ-то оставь не забудь, — отвечала она, отрываясь от разговора с какой-то кумушкой, рассказывавшей ей, по-видимому, о готовящихся в приходе свадьбах на Красную горку. Так, по крайней мере, можно было заключить из слышавшегося разговора.

— Вот и ты, говорят, — тараторила она, когда мы выходили, — чай, дочку-то свою так же по весне просватаешь…

— Да, того и гляди, таковские мы, чтобы просватать: мы еще два года сбираться будем…

Никон Федорыч, без сомнения, слышал это замечание, но он отнесся к нему так, как будто и не слыхал.

— Ну, что ж, чай, что ли, пить? — обратился он ко мне.

Что за чай, пойдем на реку. На реку, так на реку…

Казалось, что горе и заботы и его внутренняя разладица подавили и его любовь к природе. Это, кроме равнодушного ответа, еще заметнее сказалось, когда мы подошли к решетке Замятинской горы, с которой обыкновенно Никон Федорыч засматривался на раскидывающиеся перед глазами разнообразные виды, еперь он смотрел невесело и понуро на несущуюся внизу реку, еще не совсем очистившуюся ото льда, реку мутную, разлившуюся далеко кругом и текущую шумно, бурливо, с характером, совершенно не сродным нашей скромной Москве-реке.

— Вот и жизнь-то наша что река, — вымолвил Никон Федорыч, — льется, льется в своих берегах, да вдруг — на! забурлит, понесется, и не удержишь… и помутится все, как вот в этой воде.

— Тебя-то что помутило? — спросил я, чтобы вызвать его на разговор.

— Меня-то? Ах, брат, так помутило, что, кажись, и не просветлеешь.

— Ну да полно! Говори-ка попрямее. Сватается, что ли, этот купчик на Варе?

— Ну, какое это сватовство — это так, баловство одно: эдак я, пожалуй — и женатый человек — на ком хошь посватаюсь… Приехал он, этто, ко мне, у нас-то он всего раза два и был, однажды, крадучись, папирос быдто зашел купить, вдругорева уже, видишь ли ты, ознакомиться приезжал… Кажись, Бог весть чего не взял бы я с него за это его второе посещение: прикатил он как-то в воскресенье, видно, думал, что нам, то есть, послободнее, а у нас по воскресеньям-то как есть самый свал. Нечего делать — пришлось принимать. Прошу его наверх пожаловать, пошел с ним, мальчишку самовар заставил ставить, жена то есть, как есть одна в лавке, а в то время уговорил меня нечистый эту дешевку держать, гам в лавке-то, Анна Тимофеевна не сладит; перед лавкой-то телеги и его пролетка парой с пристяжной красуется. Срам, просто срам — и не видывали мы у себя таких экипажей-то! Варя тут же вертится, разоделась тоже; ах ты, Господи Боже! Он этто пристает ко мне, что, мол, переговорить ему со мной надобно наедине; Варю-то мне некуда девать: знаешь ведь наши палаты-то, в лавку также при нем зазорно услать, говорю тебе, что кучи золота не взял бы с него. Нечего делать, сунул я ее в ее курятник, притворил дверь-то, а тут куцавейка Анны Тимофеевны попалась, не пускает затворять-то, швырнул я ее в сердцах, озлился даже и в таком-то расположении подошел к нему: «Что, мол, государь мой, угодно?» Сконфузился, вижу я, он, видно, что не ожидал такого угощения, да и я, скажу тебе по правде, сам на себя в ту пору дивился: откуда у меня эдакое сердце взялось?.. Объясняет он этто мне, что так, мол, и так, Аполлинария Матвеевна — эта барыня-то, знаете, была так добра, что ли, уж Бог его знает, как он говорил, — ознакомила его с моей дочкою, что так, мол, как он очень влюблен, то просил дозволения ему бывать то есть у нас, чтобы поближе ознакомиться, и потом он переговорит с родными. Подивили эти речи в ту пору меня! «Может быть, — говорю я ему, — эдак и взаправду делается между образованными людьми, потому что они люди образованные; ну, а у нас это дело неподходящее — я вот и теперь-то не знаю, что сказать, зачем ваша пролетка у нас остановилась, а в ту пору и совсем со света сживут, как вы часто-то нас начнете навещать. Нет, мол, уж увольте, пожалуйста, батюшка». — «Я, говорит, пролетку-то буду подальше оставлять…» — «Смотреть, мол, за вами некому!..» — «Что, — говорит, — за нами смотреть?» Ах ты, Господи! Надоел он мне, пристал, как оса, да знаешь, липкий эдакой, задорный, щеголь такой… Ну, что мне с ним делать — смерть! Хотел было я пугнуть его: убирайся, мол, откуда пришел, сам чай смыслишь, что не дело говоришь; ну да совести не хватило, только и сделал, что

извинился: «Некогда, мол, мне с вами разговаривать», и ушел вниз, пославши к ним жену. Такого, скажу, туману напустил он на меня, что мочи нет, не вижу, что сдаю, не слышу, чего требуют, с пятиалтынного двугривенный сдачи сую. Ну, уехал он эдак час спустя, людишки этто начали уж разное благовестить, дома тоже загорелся сыр-бор и с женой, и с дочерью, и с той-то поры не знаю я покоя душевного, на своих-то близких, на часть тела моего, как на врагов смотрю… Барыню эту я распушил на чем свет стоит, и теперь еще за это по судам таскают и от следственного пристава откупаешься; Варьку чуть не на замке держу, а с женой вот уж больше полгода как не сплю вместе, на полу в передней комнате сплю, а летом вместе с мальчиком в лавке; и поверишь ли ты, друг мой любезный, всего лишился я — не хожу никуда, как пес их сторожу, боюсь даже ключи им оставлять, чтоб они не обобрали меня да не ушли от меня! — кончил он, понурив голову. — Что ты, что ты, Никон Федорыч, это-то откуда? — утешал я его.

Так мне, брат, вот что про это думается: для ого, если они, стервы, самого драгоценного, чем Господь Бог человека наделил, чести своей не берегут, так они на всякое бесчестное дело способны!..

И странное дело: лицо этого доброго человека дышало в это время несомненною злобою.

Я утешал его, как умел, дошел с ним до дому и вскоре расстался с ним.

Проходя рынком, я увидал вывеску новой овощной лавки, а за прилавком ее Сергея Тихонова. Несмотря на то, что он что-то отпускал двум барыням, он увидал меня:

— Господин, удостойте, зайдите-с, пожалуйста, на новоселье!..

Я вошел.

Небольшая лавка его была, как говорится, с иголочки: прилавок, полки, банки с конфектами и прочими принадлежностями этой торговли так и блестели чистотою и, кроме того, во всем виден был практичный взгляд хозяина и его блестящее применение. Сергей Тихоныч, свежий, румяный, в синем новом сюртуке, в черном коленкоровом фартуке, прегалантерейно разговаривал с барынями, отобравши от которых их желание, учтиво попросил их «пожаловать, присесть в кресла».

Лавочка его смотрела не только чистой лавочкой, но смахивала и на магазин. Барынь он отпустил «живой рукою» и размашисто подлетел ко мне.

— Еще навещаете, сударь, наши страны?

— Да, бываю, по дому вот…

— И у Никона Федоровича бываете-с?

— Как же, нельзя: старый друг.

Малый оглянул как-то быстро сразу всю лавку, и, увидя, что никого нет, а также и не «навертывается» никого, он снова обратился ко мне, приказав малому лет семнадцати, такому же чистому, как и он — «под масть», — никуда не отлучаться.

— Войдите, сударь, не побрезгуйте, в мою келию… Он и жил тут же, при лавке, в небольшой комнате,

которая нагревалась железною печью.

— Чаю, сударь., не прикажете ли? У нас это в одну минуту, сейчас в трактир пошлем.

— Нет, благодарствуйте, чаю не хочу.

— Так, может быть, лимонной водицы и папиро-сочку выкурите?

— Да, лимонной воды, пожалуй, выпью.

— Сейчас, сейчас подадим-с. И он быстро вышел.

В новой обстановке Сергей Тихоныч и сам казался новым: что-то новое, непрежнее было в нем, несомненно.

Он вскоре воротился с двумя полубутылками лимонной воды и с крюком, которым обыкновенно откупоривают минеральные воды.

— Милости просим, пожалуйте-с!

И пробка щелкнула, едва он приложился к ней крюком: во всем было видно мастера. Комната его была длинная, узенькая, какими вообще они бывают при лавках; она как бы в контраст магазина былл довольно грязна и загромождена чаем, сахаром, стеариновыми свечами, деревянным маслом. В глубине помещалась постель его, покрытая ватным стеганым одеялом; неподалеку стоял стол с счетными книгами и счетами. Во всем была видна обстановка человека, погрузившегося в дело.

— Пожалуйте-с огоньку, — предложил он мне зажженную спичку, заметив, что я вынул папироску.

— Ну, что же-с, изволили видеть Варвару Ни-коновну?

— Как же, видел.

— Как они, в своем здоровье?

— Ничего, цветет.

— Гм, цветет! Дай Бог!

Он несколько времени помолчал, я тоже.

— Ну-с, я тогда говорил с Никоном Федоровичем о вашем деле, — начал я потом, — он мне обещал с вами повидаться и переговорить, вы, вероятно, виделись?

— Как же-с, виделись и разговор вели. Толку-то только из эвтаго ничего не вышло, и Никон Федорыч по своей, надо прямо

говорить, по своей слабости довели это дело до того, что теперь из нашего звания человек едва ли кто и посватается за Варвару Ни-коновну.

— Почему же так? — спросил я с изумлением. Слава про них нехороша, вот почему; теперь весь рынок про то знает, что этот купчик их и на дому навещает, и у барыни этой с нею видится, и, может ыть, где-нибудь и в другом месте встречаются. Кому е нУжна такая жена, про которую до брака слава такова сложена? Никому не нужна она!

— Ну, а вы-то, сами-то не можете видеть, где ложь, где правда, не можете стать выше предрассудков? — Увлекся было я. — То есть, — спешил я поправиться,— сердцем своим почувствовать, что все это рыночные сплетни и что честнее Никона Федоровича и чище его дочери и вообразить себе трудно.

— Оно, может быть, и точно-с… да что ж с этим делать-то? Слава худая.

Я, признаться, вспылил, сухо распростился с хозяином и поспешно вышел из его лавки.

«Экая земля какая! — думалось мне. — Стоит только хоть на мизинец выдвинуться пред другими, чем-нибудь отличиться, чтоб закидали тебя грязью, или быть истинно честным человеком, чтобы заставить отыскать в себе целую кучу пороков».

Вскоре мне пришлось уехать за границу. В шуме европейской жизни мне позабылась скромная жизнь Никона Федоровича; пробыв по преимуществу по Франции и Англии с лишком год, я воротился в Россию и приехал снова на житье в Москву.

По возвращении откуда-нибудь издалека прежде всего всегда хочется видеть старых знакомых, в числе которых я считал и Никона Федоровича.

Как-то под вечер я отправился к нему…

Читатель, вероятно, так и ждет заколоченной лавки, смерти от горя, могилы с деревянным крестом на любимом кладбище старика, на Драгомиловском, но ничего не бывало: старик по-прежнему копошился в своей лавке, но это уже далеко не был прежний Никон Федорыч: он поседел и постарел, кажется, на десять лет. Темно-желтое лицо его, желтизна белков глаз, особенно ярко выступающая от седины волос и бороды, ясно говорили, что пережил в это время старик. В лавке его далеко не было так полно, как прежде, не было и прежней чистоты: все засорилось, замаслилось, появился даже и куль с угольями, чего прежде не допускал старик, и мальчик в лавке был такой неопрятный, и сам Никон Федорыч в замасленном сюртуке — крайне замасленном, и без фартука, одним словом, это был другой человек, в другой обстановке.

— Никон Федорыч, ты ли это?

Он взглянул на меня с каким-то тупым любопытством.

— А, друг… — вымолвил он слабым, как бы разбитым голосом, — откуда это Бог принес?

— Да что ты, болен, что ли, был? — продолжал я спрашивать его. — Да ты и теперь болен…

— Нет, ничего, живем… — говорил он, по-прежнему взявши мою руку в одну из своих и гладя ее другою, — но в руках его не было ни прежней теплоты, ни мягкости, и улыбка, которой он, бывало, улыбался, не освещала по-прежнему его сумрачного лица.

— Ну, как же, в самом деле, живется?

— Да вот, как видишь, ничего…

— Анна-то Тимофеевна жива ли?

— Жива.

— Варенька?..

При этом имени видимо скоплявшиеся в продолжение приведенных расспросов слезы двумя струями покатились из глаз Никона Федорыча.

— Что с тобой? Неужели умерла?

— Нет, жива.

— Ну так что ж с тобой? Чего же ты?

— Лучше б умереть ей, нежели жить-то так — вот что!

— Да что такое, в чем дело-то?

И рассказал мне Никон Федорыч простую и обыкновенную историю, историю, которая все чаще и чаще повторяется на наших глазах, которым не придают почти никакого значения по их обыденности, несмотря даже на то, что их мертвящие последствия как огнем выжигают целые семейства, губят состояния и увеличивают толпу людей, которые какими-то тенями без дела, без цели бродят большую, остальную часть жизни. Дело вышло простое: купчик бесился с жиру — вообразилось ему, что он будто бы полюбил Варю, и той это вообразилось, на самом же деле одному нравилась молоденькая девочка, а Варе нравилось, что она выйдет за богатого… Тут было еще третье заинтересованное лицо — барыня Аполлинария Матвеевна, которой нравилось соединять молодые пары. Матушкин сынок думал, что он непременно женится на Варе; Варя спала и видела, что она непременно выйдет замуж за Лягавина; барыня не сомневалась, что из ее хлопот выйдет свадьба, а вышло совсем иное.

У Степы Лягавина была мамаша — толстая-рас-толстая купчиха; жили Лягавины где-то на краю города, где обыкновенно строятся фабрики; купчиха выезжала только в церковь и живмя жила зимою в своей спальне, где от подушки она переходила к

самовару, от самовара к подушке; летом же эта обстановка переносилась в сад, где в беседке шла та же самая история. Прасковья Егоровна жила таким образом в своем особенном миру, мышление ее с давнего времени остановилось на одной известной точке и далее уже и не двигалось; о современных событиях и каких-либо переворотах она ничего не знала, разве что расскажет Степа или погуторит ее наперсница — горничная Авдотья. Как уж шла их отделывочная фабрика — одному Богу было известно; виноват, впрочем, это было также известно еще приказчику и управителю фабрики Семену Лукичу… Мамаша, которой по духовному завещанию было предоставлено все движимое и недвижимое, души не чаяла в Степаньке и хотя видала его не более часа или двух в день, но ни в чем ему не отказывала и когда даже узнала чрез свою наперсницу о том, что у него завелись шашни с какой-то овощницей, с лавочницей, как объяснила Авдотьюшка, то- и тогда большого внимания на это не обратила: «Э, мол, друг Авдотьюшка! Человек молодой, пускай тешится, пускай, пока молод, погуляет». Но, однако, весть, что Сте-панька хочет жениться на этой лавочнице, вызвала ее из апатии: при этом заговорило в ней и уцелевшее ее самолюбие, и купеческое материнское сердце, склонное всегда женить любимого сына на богатой, да на красивой, да на здоровой, и мать всеми своими живыми еще силами восстала против этого желания своего баловня-сына. Вследствие этого между ними произошла сцена, сцена возмутительная даже в этом обществе: Прасковья Егоровна, услыхав о намерении женитьбы Степаньки и объясняя все прогулы сына, прогулы по дням и ночам, влиянием этой «мерзавки-лавочницы», решалась в эту же ночь дожидаться сына хотя до свету и наказала Авдотье, если, Боже чего сохрани, она вздремнет, разбудить ее. Господь Бог, однако, не сохранил ее, и она, вероятно, от «волнения чувств», уснула. Авдотья же, эта ехидная Авдотья, страстно любившая все, что нарушало обычный ход жизни и бывшая но вражде со Степанькой, глаз не смыкала всю ночь и, услыхав под утро, как он приехал, кошкой вползла в спальню мирно покоившейся купчихи, подняла ее на ссору с сыном и поругание от него. Степан был сильно хмелен, он едва добрался до дивана и, вероятно, уснул бы, если бы не вздумалось ему освежиться лимонною водою… В ту минуту, когда он, покачиваясь, раздевался, к нему вошла мать в сопровождении Авдотьи, оставшейся, впрочем, у дверей.

— Я, Степа, говорить с тобой пришла, — начала Прасковья Егоровна спросонья.

— Чего вам?

— Ты, Степа, кутишь не в свою голову…

— Что такое?

— Да то и есть, что кути, да не закучивайся — вот что! С чего это ты жениться-то вздумал без родительского благословения?.. Я и так уж, кажется, на все твои проказы сквозь пальцы смотрю, ну, а это уж не проказы и смотреть на них сквозь пальцы мне не приходится…

— Тебе что? — отвечал, едва ворочая языком, сын.

— Вот те и тебе чего! Не позволю, не бывать этому…

— Ой ли?

— Да вот те и ой ли! Я тебе мать и всю шкуру с тебя спорю.

— Ой-й л-ли?

И он, покачнувшись, приблизился к матери.

— Да что вы, сударыня, на него смотрите-то, прикажите-ка повалить да рубашку задрать! — вмешалась скороговоркою Авдотья… Но едва лишь проговорила она, как полновесная оплеуха раздалась по комнате, и этой оплеухой, вероятно думая отомстить Авдотье, преступный сын попал по щеке матери…

Двойственный крик раздался по комнате, и снопами повалились и Степан, и Прасковья Егоровна — один на пол, другая в близстоящее кресло, осталась только сознающей эту сцену одна сердобольная Авдотьюшка; но она не осталась покойною: с криком и визгом она кинулась из горницы и подняла на ноги весь дом; к утру же весь околоток знал о безобразном поступке Степана Лягавина, а на другой день стараниями родственников дело это перешло в уголовный

Передавши этот рассказ, как он ходил тогда «из уст уста», мы заключим его словами Никона Федорыча: И так-то, друг ты мой любезный, — закончил и расшиблась вся наша жизнь; живу теперь только разве потому, что Господь Бог в смертный грех вменил руки на себя налагать, живу, а все из рук валится: Варя созналась нам с матерью, что в связи с ним была, и теперь, брат, вместо Божьего благословения, которое я берег как зеницу ока моего, теперь над домом моим как бы проклятие какое тяготит - что ни начну, все из рук ползет, все ползет и валится…

— Ну, где же Варя, где же Варя-то теперь?

— Там, вверху с матерью… Поди, если хошь, посмотри на нее…

Но я в этот раз не решился идти, и видел ее только года два-три спустя, когда уже Никона Федоровича не было в живых: видел ее в одном из домов терпимости, где от жены, от богатой вдовы, навещал ее главным образом разбогатевший овощник Сергей Тихонов, который ее оттуда и выкупил.

КОММЕНТАРИИ ВЫПУСК ПЕРВЫЙ

Общий вид

«Москва и город? — Ты чудак!» — неточная цитата из «Горя от ума» Грибоедова. В подлиннике в ответ на замечание Натальи Дмитриевны: «Платон Михайлыч город любит, Москву; за что в глуши он дни свои погубит!», Чацкий говорит: «Москву и город… Ты чудак!». (Действие 3, явление 6.)

Троицкий — имеется в виду популярный у купечества Троицкий трактир на Ильинке (№ 5, старое здание не сохранилось), славившийся русской кухней.

Тройка от Ечкина. Ечкин — владелец конторы для сдачи напрокат дорогих экипажей.

Муромский, Кречинский — персонажи комедии А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского», поставленной впервые в 1856 г.

«У Шевалдышев а». Гостиница Шевалдышева считалась в XIX в. одной из лучших в Москве. Здание (Тверская, 12) сильно перестроено.

Половые — трактирные слуги. В отличие от ресторанных официантов были одеты в русское платье.

Адрес-календарь московский — ежегодный справочник с перечнем московских учреждений, должностных лиц, домовладельцев. Им снабжались, в частности, постовые полицейские (будочники) для оказания помощи в поисках адресатов.

Пауперизм — обнищание трудящихся масс — популярная тема в публицистике 1860-х гг.

Будочник — до 1862 г. постовой полицейский, дежуривший в караульной будке или возле нее.

Воспитательный дом- основанное в 1764 г. благотворительное учреждение для подкидышей, внебрачных детей и сирот. Старый корпус сохранился на Москворецкой набережной (ныне здание Военной академии им. Ф. Э. Дзержинского).

Подворье. Здесь — разновидность гостиницы, где можно оыло снять не только номер, но и каретный сарай для экипажа, а также складское помещение для крупной партии товара.

Пара чая — порция чая, подаваемая в двух чайниках, один с заваркой, другой с кипятком.

Дмитровка (Большая) — ныне Пушкинская улица.

Эмансипация. Здесь — отмена крепостного права в России

Засиживать — собираться в какой-либо семье на посиделки, е- вечерние сборища с беседами, песнями, играми.

Павлова Каролина (1807–1893) — русская поэтесса, автор многих повестей в стихах и прозе.

Дышловая пара — пара лошадей, впряженная с обеих сторон к дышлу, т. е. одиночной оглобле.

Святая Анна — орден, присваиваемый за успешную государственную и военную службу. Имел четыре степени.

Душа ревизская — крепостной крестьянин, внесенный после очередной переписи («ревизии») в регистрационный список — «ревизскую сказку».

Квартальный (надзиратель) — полицейский чиновник, отвечающий за порядок в небольшой части города — квартале.

Городская часть

До февраля 1917 г. Москва разделялась на полицейско-террито-риальные единицы….. части. Городскую часть составлял Китай-город, т. е. примыкающая к Кремлю территория до нынешних Театрального и Китайского проездов. В обиходе Китай-город именовался просто Городом.

Владимирские, Проломные и Ильинские ворота вместе с соединявшей их стеной были снесены в 1934 г. (выходили на Лубянскую площадь и Китайский проезд).

Никольские и Спасские ворота и ныне украшают Красную площадь.

Иверские вор о та до 1932 г. стояли в Историческом проезде, рядом с ними находилась Городская дума с «ямой» — долговой тюрьмой и другими названными учреждениями.

Варварские ворота — в 1934 г. были разрушены. Около этих ворот находилась почитаемая верующими икона Боголюбской Божьей матери. В 1771 г. московский архиепископ Амвросий ввиду эпидемии чумы запретил жителям собираться около этой иконы, что вызвало возмущение и восстание, получившее название Чумного бунта.

Зарядье — т. е. местность за рядами (торговыми) между Варваркой и Москворецкой набережной. Была заселена мелкими ремесленниками и торговцами, русскими и евреями, между которыми иногда вспыхивали конфликты.

Суровская торговля — торговля шелковыми, хлопчатобумажными и легкими шерстяными тканями.

Панская торговля — продажа дорогих (господских) предметов обихода.

Юхотная торговля — торговля товарами из грубой кожи (юхтью).

Москательная линия место, где продавались москательные, т. е. бытовые химические, товары.

Ветошный ряд — здесь торговали поношенной одеждой и обувью.

Гостиный двор — массивное торговое помещение со множеством лавок, строившееся с 1790 по 1805 г. Занимает квартал между Варваркой, Хрустальным и Рыбным переулками.

Приказчик — служащий при купце, торговавший по доверенности хозяина в лавке, магазине.

Красный товар — ткани повышенного качества.

Полицмейстер — полицейский начальник, ведавший тре-мя-четырьмя полицейскими частями. Подчинялся обер-полицмейстеру — начальнику всей московской полиции.

Биржа — место заключения торговых и финансовых сделок. Московская биржа с 1839 г. находилась на Ильинке, 6, в 1873–1875 гг. для нее на том же месте построили новое здание, надстроенное в 1920-х гг., в котором сейчас помещается Торгово-промышленная палата Российской Федерации.

Тычок — площадка перед Биржей, оживленное торговое место.

Извозчичья биржа — стоянка извозчиков.

Рядские ширялы — торгаши, не имеющие постоянного места торговли, шатающиеся между рядами.

Певчая, или Певческая, линия — проулок, тянувшийся от Биржевой площади к Ветошному ряду.

Подворья. Из упомянутых здесь Китайгородских подворий сохранилось здание только Чижовского подворья (Никольская улица, 8).

Юшков переулок — ныне Никольский (между Ильинкой и Варваркой).

«Место от Владимирских ворот до Ильинских и от них вниз до Варварских» — Новая и Старая площади.

Терем Михаила Федоровича (Варварка, 10) — ныне Музей боярского быта.

Дом Шилова — до 1967 г. стоял напротив входа в лекторий Политехнического музея. На этом месте сейчас сквер с памятником жертвам сталинских репрессий.

Николаевская богадельня — находилась в Лефортове.

«Поднять на зубки» — т. е. поднять на смех.

Дрожки — легкий двухместный экипаж на рессорах.

Владимирские ворота — выходили на Лубянскую площадь со стороны Никольской улицы.

Рогожская часть

Рогожская часть располагалась к востоку от центра, охватывая территорию между Яузой, Москвой-рекой и линией Камер-Коллежского вала, примерно от Андроникова до Симонова монастыря.

Столбовые дворяне — древнее родовое дворянство, сословие бывших феодалов, в отличие от служилого дворянства, которое достигалось выслугой лет на государственной службе. От слов «столб, столбец» — родословных книг, склеенных в виде свитков.

Подьячество — в XIX в. ироническое прозвище старых канцелярских служителей.

Алексеевские Большая и Малая улицы — ныне Коммунистические Большая и Малая.

Тележная — неофициальное название 1 — й Рогожской улицы (ныне Школьная).

Нов о благословенная церковь- здание находится на современной Самокатной улице.

Дурной переулок — ныне Товарищеский.

«Местечко В о к с а л» — место общественных увеселений, с прудом и парком, находилось в районе современных Факельных переулков.

Большие и Малые Каменки — вероятно, опечатка, надо Каменщики.

Спас Новый — Новоспасский монастырь.

Дикая краска — темно-серая, со стальным оттенком.

Трактир — ресторан с русской кухней.

Кабак (официально — питейный дом) — отличался от трактира тем, что в нем подавали преимущественно спиртные напитки.

Полпивная лавочка — лавка, где торговали полпивом — легким пивом.

«Московские ведомости» — старейшая московская газета, издавалась с 1756 по 1917 г.

Лухмановские часы — уникальные по конструкции и оформлению часы, изготовленные в 1806 г. известным механиком и предпринимателем Михаилом Медоксом. От Медокса попали к антиквару Лухманову, откуда и название. В настоящее время — в Государственной Оружейной палате.

«Калашня Филиппова». Московский булочник И. М. Филиппов, прославившийся калачами, имел свое «заведение» на Тверской, 10 (ныне магазин «Хлеб»). О Филиппове и его калачах подробный очерк — «Булочники и парикмахеры» — написал В. А. Гиляровский.

Снегирев Иван Михайлович (1793–1868) — профессор, историк и этнограф, исследователь московских древностей. Его труд «Памятники московских древностей…» выходил в 1842–1845 гг.

Белая царская казна — образное название полотна и камчатных тканей.

Хамовный двор — древнее название ткацкой фабрики.

Старый (Всехсвятский) Каменный мост, стоявший с 1692 по 1859 г. неподалеку от Боровицких ворот, славился своими конструктивными и художественными достоинствами. С 1869 по 1938 г. на этом месте стоял трехпролетный металлический мост, замененный в 1938 г. современным однопролетным.

Болото — ныне площадь Репина.

Кузнецкая улица — ныне Новокузнецкая.

Лужники — ныне улица Бахрушина.

Садовники — ныне улица Осипенко.

Козьмодемьяновская улица — нынешние улицы Серафимовича и Большая Полянка.

Калужская застава — площадь Гагарина.

Грузины — район Грузинских улиц. В XVIII–XIX вв. здесь обитало много цыганских хоров, сюда охотно ездили наслаждаться музыкой и кутить московские дворяне и купцы.

Холерные эпидемии — происходили в Москве в 1831 и 1848 гг.

Нагольный полушубок — без покрышки, кожей наружу.

Белендрясы — вздорные, пустые разговоры; здесь — декоративные украшения.

Краснорядец — торговец красным товаром, т. е. высококачественными тканями.

«…Построение одним лицом, бывшим суконным фабрикантом на свой счет целого монасты-р я…» — По всей вероятности, речь идет об основании Никольского единоверческого монастыря (Преображенский вал), в учреждении которого важную роль сыграл текстильный фабрикант А. И. Хлудов (1818–1882). Он пожертвовал монастырю свое уникальное собрание старопечатных книг и древних рукописей, для чего построил специальное здание.

«С е к р е т» — баллада Н. А. Некрасова (1855). В ней описывается смерть богача, разжившегося на обманах и преступлениях, и схватка его сыновей из-за наследства.

Де Пуле М. Ф. (1822–1889) — литературный критик и публицист консервативного направления.

Понедельничанье — добровольное добавление к двум постным дням недели — среде и пятнице — понедельника, одно из проявлений религиозного благочестия.

Четверговая соль — особая соль, пережженная с мукой в Страстной четверг перед Пасхой, якобы обладающая благотворной силой; с ней едят пасхальные яйца.

Умывание с уголька — умывание водой, содержащей кусочки древесного угля; средство от сглаза и наговора.

Чистый понедельник — начало предпасхального Великого поста.

Красная горка — первое воскресенье после праздника Пасхи. С этого дня разрешались бракосочетания, запрещенные в течение длительного Великого поста.

Хлебники — пекари, торговцы хлебом.

Хлебово — полужидкая пища, похлебки и супы.

Петровки — Петров пост; приходится на самое жаркое время года.

Петропавловская, или Павловская, больница — ныне 4-я городская больница на Павловской улице.

Голицы некая, Городская и Горихвостовская больницы — располагались на Большой Калужской улице (ныне Ленинский проспект). После революции объединены в 1-ю Городскую (Градскую) больницу.

Варваринский сиротский дом А. И. Лобкова находился на Шаболовке, 53–59.

Андреевская богадельня находилась с 1764 г. в Андреевском монастыре, у подошвы Воробьевых гор. Строение сохранилось.

Московское мещанское училище (1835–1917) находилось на Большой Калужской улице (ныне Ленинский проспект, 6, здание сильно перестроено).

Аскоченский В. И. (1813–1879) — общественный деятель реакционного направления. С 1858 по 1877 г. издавал газету «Домашняя беседа».

Рязанов Ф. ф. — крупный фабрикант, владел набивной фабрикой на Пресне.

Скотопригонный двор — в 1860-е гг. находился в середине Мытной улицы.

Щемиловка — район Щемиловских переулков близ Селезневки.

Храм Спаса (Христа Спасителя) — первоначально был заложен на Воробьевых горах по проекту А. Л. Витберга в 1817 г., но затем проект был отвергнут, и храм по новому замыслу строился У Пречистенских ворот с 1838 по 1883 г.

Шестов А. П. (1783–1847) — городской голова, исполнял эту

должность с 1843 по 1845 г.

Портомойня — место на берегу реки или пруда для стирки и полоскания белья.

Симонове (Симонова слобода) — местность на юге Москвы, возле нынешнего автозавода им. И. А. Лихачева.

Куцавейка — короткая распашная кофта с рукавами.

Серпяной армяк. Армяк — верхняя крестьянская одежда вольного покроя, напоминающая халат. Серпянка — грубая хлопчатобумажная ткань редкого плетения.

Бабий городок — местность на правом берегу Москвы-реки у современной Крымской набережной.

Садовский Прев Михайлович (1818–1872) — знаменитый актер Малого театра, выдающийся исполнитель персонажей А. Н. Островского.

Лошадиная охота — здесь: страсть к приобретению, продаже и обмену лошадей.

Аматёр — любитель.

Барышник — спекулянт.

«Байкал» и «С т р е л ь н а» — богатые загородные рестораны.

«…Бежал на Город и объявил себя банкро-т о м» — имеется в виду Китай-город, центр коммерческой жизни старой Москвы, где купцы заключали сделки, брали кредиты, объявляли о своем банкротстве и т. п.

«Покутить у Патрикеева» — т. е. в одном из лучших ресторанов Москвы (находился на Театральной площади).

Трынка — азартная карточная игра.

Канаус — дешевая шелковая ткань.

Шлафрок — домашний халат.

Штофный — изготовленный из плотной ткани.

Поставец — невысокий шкаф для посуды.

Фермуар — ожерелье с драгоценной застежкой.

«В случае нужды и в Воспитательный можно». В целях пополнения своего бюджета Воспитательному дому разрешалось выдавать процентные денежные ссуды под залог драгоценностей и другого имущества. О возможности такого залога и размышляет жених.

С о ч е в о — постное блюдо: кашица с овощами.

Иван Яковлевич — И. Я. Корейша (1780–1861), популярный в Москве юродивый-прорицатель, смерть которого вызвала сильное потрясение среди его фанатичных поклонников.

Плакун-трава корень, Петров крест — дикорастущие растения, употребляемые в народной медицине.

Покровский монастырь основан в середине XVII в. Некоторые его строения сохранились на Таганской улице, 58, неподалеку от

Абельмановской (бывшей Покровской) заставы.

Лефортовская часть

Приказ общественного призрения(1775–1864) орган при губернаторе, ведавший местными благотворительными, учебными и медицинскими учреждениями. Для пополнения своего скудного бюджета имел право заниматься финансовыми операциями.

Генеральная, или Большая, Преображенская улица — ныне Электрозаводская.

Покровский мост — находился на месте современного Электрозаводского.

Сокольницкое, или Сокольническое, поле — обширная территория к юго-востоку от парка «Сокольники». Ныне полностью застроена.

Каулин и Залогин — владельцы шелкоткацкой фабрики на Сокольницком поле.

Люстрин — шерстяная ткань с глянцем.

Бабки — русская народная игра с костями (надкопытными суставами) животных, типа городков.

Сновальщик — ткач, готовящий основу под ткань.

Полштоф водки — бутылка емкостью около 600 граммов.

Орлянка — азартная игра с подбрасыванием монеты; выигрывает тот, чья монета легла орлом (гербом) кверху.

Становой (пристав) — начальник стана, т. е. полицейского округа в уезде.

«Новое учреждение». Вероятно, имеются в виду мировые суды, предусмотренные реформой 1864 г. для упрощенного рассмотрения мелких гражданских и уголовных дел. Однако надежд автора они не оправдали, так как не имели права заниматься конфликтами освобожденных крестьян, т. е. подавляющего большинства тогдашних рабочих.

Парк и Сокольники

Театр в Петровском парке находился на территории, ныне занятой стадионом «Динамо».

Максимилиан Сакс — дирижер и театральный антрепренер. В 1850—1860-х гг. арендовал часть Петровского парка под увеселительный сад.

Кн. Юсупов, Шереметев, Нарышкин — владельцы живописных

подмосковных парков и угодий, доступных для общественных гуляний.

Петровский замок использовался царской фамилией как путевой дворец для остановки перед въездом из Петербурга в Москву. Построен в 1776–1796 гг. архитектором М. Ф. Казаковым. Ныне в нем помещается Военно-воздушная академия им. Н. Е. Жуковского (Ленинградский проспект, 40).

Bois de Boulogne (фр.) — Булонский лес, парк на западной окраине Парижа, популярное место отдыха парижан.

Crystal Palace (англ.) — Кристальный (Хрустальный) дворец, грандиозное остекленное здание, построенное в 1850-х гг. для Всемирной выставки в Лондоне.

Mauvais genre(фр.) — дурной стиль.

Яр — знаменитый ресторан, с 1830-х гг. помещался неподалеку от Петровского парка (Ленинградский проспект, 32). Нынешнее здание позднейшей постройки.

Турбин И. С. (1821–1884) — автор пьес преимущественно из жизни военных.

КОММЕНТАРИИ ВЫПУСК ВТОРОЙ

Введение

Московская городская общая дума — действовала по «городовому положению» 1862 г. как всесословный орган городского самоуправления до 1870 г. В ее составе существовало 8 выборных представительств, выражавших интересы отдельных сословий (дворян, купцов, мещан, ремесленников и т. д.). В 1870 г. была заменена на более демократичную Городскую думу с исполнительным органом — городской управой. Действовала до ноября 1917 г.

«Известный публицист «Московских ведомостей» — имеется в виду их редактор М. Н. Катков.

Вотировать — голосовать, интерпеллировать— делать запросы, делать амендементы — вносить поправки: французские парламентские термины.

«Готтентотские школы». 2мая 1864 г. газета славянофилов «День» выступила против развития всесословного образования, ссылаясь на «недостаточный уровень цивилизации в России» и несоответствия «принятых в школе начал» русским традициям в быту. «День» уподобил это попытке дать образование готтентотам — крайне отсталой в то время африканской народности: «Можно и среди готтентотов устроить блестящую школу… но проку от этого будет немного».

«Бежать до лясу» (польск.) — бежать в лес.

«Теория эта состоит в следующем…» и т. д. Излагаются воззрения известного славянофила И. С. Аксакова (1823–1880).

Где можно покойно спать, сыто и недорого есть в Москве

Кокоревская гостиница — построена в 1860 г. на средства В. А. Кокорева на Софийской набережной, 34, в 1930-е гг. надстроена тремя этажами.

Гостиница Мамонтова — построена на Раушской набережной, 4, в 1860-х гг. Здание сохранилось.

«Гостиницы: Шевалье, Дюсо, Гашедуа, «Париж», «Рим» и «Россия»…»— Перечислены крупнейшие гостиницы московского центра, здания которых до наших дней не сохранились.

Морель — французский предприниматель, арендовавший в 1850-х гг. сад «Эрмитаж» в районе нынешней Селезневки; здесь он

устроил богатый ресторан, концертную эстраду, цирковую арену И различного рода аттракционы.

Chambrs garnies (фр.) — меблированные комнаты; так назывались второразрядные гостиницы.

Аи naturelle (фр.) — в необработанном виде.

Московская городская общая дума в новом составе

Среди гласных, т. е. депутатов, первой пореформенной Городской думы Москвы (1864) ведущую роль играли представители аристократии и торгово-промышленного мира, причем последние уже заметно теснят первых. В списках все чаще мелькают фамилии выходящих на историческую авансцену не только Москвы, но и всей России крупных купеческих династий — Морозовых, Рябушинских, Боткиных, Щукиных и других. Некоторые из вновь избранных гласных купеческого сословия (или их сыновья) вошли в историю русской культуры как видные общественные деятели, известные меценаты и коллекционеры. Прослойка людей умственного труда в думе была невелика, но весома.

Отметим следующие имена:

Князь Александр Алексеевич Щербатов (? — 1902)_первый глава обновленной Городской думы, представитель знатного аристократического рода. На средства, оставленные его матерью, он построил детскую больницу, ныне носящую имя Н. Ф. Филатова.

Далее по алфавиту:

Абрикосов Алексей Иванович (1824–1904) — основатель крупнейшей в России кондитерской фирмы. На средства Абрикосовых в начале XX в. построен родильный дом на Миусской площади.

Богданов Анатолий Петрович (1834–1896) — профессор Московского университета, зоолог и антрополог. Участвовал в формировании фондов Зоологического музея МГУ, основатель Московского зоопарка.

Боткин Петр Петрович (1831–1907). В 1869 г. руководил крупнейшей чайной фирмой, основанной еще его дедом. В его особняке (Петроверигский переулок, 3, сохранился) собирались многие видные литераторы того времени — Герцен, Гоголь, Некрасов, Тургенев и другие. Из многочисленных его братьев прославились Сергей Петрович — медик, Василий Петрович — литератор, Дмитрий Петрович — коллекционер.

Захарьин Григорий Антонович (1829–1897) — выдающийся

терапевт, основатель московской клинической школы. Внес немалые средства в организацию Музея изящных искусств на Волхонке.

Кетчер Николай Яковлевич (Христофорович) (1809–1886) — медик, литературный переводчик. Служил начальником Московского врачебного управления. Друг Герцена, Огарева, Белинского, Грановского. Один из передовых общественных деятелей Москвы XIX в.

Кокорев Василий Александрович (1817–1889) — винный откупщик, ставший миллионером, затем зачинатель нефтяной промышленности в России. Основатель картинной галереи и собрания памятников прикладного искусства, помещавшихся в Петроверигс-ком переулке.

Погодин Михаил Петрович (1800–1875) — выдающийся историк, автор трудов по истории Москвы. В 1841–1856 гг. издавал журнал «Москвитянин».

Пороховщиков Александр Александрович (1834–1917) — предприниматель, построил здание «Славянского базара», корпуса Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Владелец книжного магазина «Русская грамота» на Тверской, в собственном Доме^ Один из издателей газеты «Минута» («Русская жизнь»).

Рихтер Федор Федорович (1808–1868) — архитектор, ведал реставрацией и поддержанием кремлевских строений. В 1850-х гг. устанавливал бывшие палаты Романовых на Варварке (ныне Музеи боярского быта).

РябУшинский Павел Михайлович (1820–1899) — крупный текстильный Фабрикант- В 1887 г. основал фирму «П. М. Рябушинский с сыновьями». Из его восьми сыновей наибольшую известность приобрели: Павел Павлович — банкир и политический деятель, Степан Павлович — собиратель икон, Николай Павлович — меценат издатель журнала «Золотое руно», Дмитрий Павлович — основатель аэрогидродинамической лаборатории в Кучине.

Самарин Юрий Федорович (1819–1876) — философ славянофильского направления, историк и публицист.

Свешников Федор Осипович — книгопродавец, комиссионер Русского географического общества.

Солдатенков Козьма Терентьевич (1818–1901) — текстильный фабрикант, книгоиздатель, собиратель картин и книг. На завещанный им капитал построена больница в Москве (ныне им. С. П. Боткина).

Третьяков Сергей Михайлович (1834–1892) — совладелец текстильной фабрики в Костроме, собиратель произведений

западноевропейской живописи, брат знаменитого П. М. Третьякова. В 1877–1881 гг. был московским городским головой. Подарил городу Третьяковские ворота с проездом, соединяющим Театральный проезд с Никольской улицей.

Щепкин Николай Михайлович (1820–1886) — второй сын М. С. Щепкина, издатель и книгопродавец, компаньон К. Т. Солдатенкова.

КОММЕНТАРИИ. ВЫПУСК ТРЕТИЙ И ПОСЛЕДНИЙ

Сокольницкая идиллия

«Ах, не все нам реки слезны е…» — цитата из неоконченной поэмы Н. М. Карамзина «Илья Муромец» (1794).

«Старое гулянье» — местность в Сокольниках, ближняя к городу. Позже гулянья перенесли к Сокольническому кругу.

Куртенер арендовал в Сокольниках участок земли, где в особых палатках устраивал чаепития и танцы.

«Смеяться, право, не грешно, над тем, что кажется смешно» — цитата из «Послания к А. А. Плещееву» Н. М. Карамзина (1796), ставшая популярной пословицей.

«Волчья долина» — несмотря на устрашающее название, живописная аллея в Сокольниках, некогда излюбленное место прогулок москвичей.

Камлот — плотная шерстяная или полушерстяная ткань.

Купеческая дочка и матушкин сынок

Драгоми лове кий (Дорогомиловский) мост находился на месте современного Бородинского моста; деревянный Дорогомиловский мост был заменен новым металлическим в 1868 г., а в 1913 г. был возведен Бородинский мост.

Драгомиловская (Дорогомиловская) слобода — местность на западе Москвы, заселенная до конца XVIII в. преимущественно ямщиками.

Замятинская гора — более известная как Варгунихина, или Воронихина, — возвышенный берег Москвы-реки, ныне часть Смоленской набережной.

Церковь Благовещения на Бережках — здание в испорченном виде сохранилось (2-й Вражский переулок, 1, на Плющихе).

Церковь Смоленской божьей матери стояла на v плющихи и Смоленской улицы, разобрана в 1930-х гг. Драгомилово (Дорогомиловское) кладбище располага-лосьмежду Можайской дорогой (ныне Кутузовский проспект) и Мо-

Цибик — пакет чая весом от 16 до 32 килограммов.

Смоленский рынок — располагался на современной Смоленской площади.

«За игравшей машиной» — заводной орган, развлекавший публику музыкой в трактирах, ресторациях и т. д.

Миндальное молоко — прохладительный напиток из

сладкого миндаля.

Калетовская свеча — стеариновая свеча высшего качества по фамилии фабриканта.

Страстная — неделя накануне Пасхи, «праздника из праздников».

Окоренок — бочонок, распиленный надвое.

«Своих собутыльников по «Московскому» — имеется в виду излюбленный купечеством Московский трактир, находившийся на нынешней площади Революции.

«Лавка в два раствор а». Раствор — складная дверь в лавке.

Купеческое собрание учрежденный московским купечеством клуб с рестораном, библиотекой, сценой и т. п. Находился на Большой Дмитровке (Пушкинская улица, 17, дом перестроен).

Святая — праздник Пасхи.

«С пятиалтынного двугривенный сдачи с у ю» — т. е. с 15 копеек — 20; свидетельство смятения и растерянности.

Деревянное масло — оливковое.